

Близнецы (1855)

Шевченко Тарас Григорович

10 июня

Всему просвещенному миру известно и переизвестно, что понедельник — день критический, или просто тяжелый день, и что в понедельник всякий более или менее образованный человек не предпримет ничего важного: он лучше пролежит целый день; хотя бы там, как говорится, само дело просилось в руки, он перстом не пошевелит. Да и в самом деле, если хорошенько рассудить, если мы из-за презренного серебреника наругаемся над священными преданиями старины, что же тогда из нас будет? А выйдет какой-нибудь француз или, чего Боже сохрани, куцый немец, а о типе, или, так сказать, о физиономии национальной, и помину не будет. А по моему, нация без своей собственной, ей только принадлежащей, характеризующей черты похожа просто на кисель, и самый безвкусный кисель.

Но, увы! не так думают прочие. Например, наше военное сословие далеко отстало от современников на пути просвещения. Они, например, не веруют вовсе в понедельник и легкомысленно называют этот священный завет отцов и дедов наших *бабьими* бреднями. Боже мой! Боже, вот до чего мы дожили. А попросил бы я это усатое сословие заглянуть, например, хоть бы в «Письмовник» знаменитого Курганова. Там именно сказано, что еще древние халдейские маги и звездочеты, а за ними и последователи учения Зороастрова неукосненно веровали в критичность понедельника. Так вот поди толкуй ты с беспардонною военщиною. Военный, вполне военный человек, он лучше загнет лишний угол или возьмет у жида лишнюю бутылку самодельного рому, так называемого клоповика, чем [захочет] выписать мудрую книгу какую-нибудь, хоть, например, «Ключ к таинствам природы» *Эккартсгаузена* с прекрасными рисунками знаменитого нашего Егорова. Так где тебе! И слушать не хотят.

Я все это речь веду к тому, терпеливый читатель, что, поругавши освященные многими и премногими годами верования предков наших, именно в понедельник, рано утром, из уездного города П. и губернии тоже П. выступил в поход не то гусарский, не то уланский полк, не помню хорошенько; помню только, что сбор в трубу трубили, поэтому и надо думать, что полк был кавалерийский, а если б был пехотный, то сбор били бы в барабан.

Входит и выходит из села или городка полк — это два великие события, а особенно, если полк, чего Боже сохрани, простоит на квартирах хоть несколько дней; тогда выход его сопровождается слезами и очень часто самыми искренними слезами. Я это говорю только в отношении прекрасного пола. А насчет мужей и женихов я не говорю ни слова. И ни слова также не скажу о выходе реченного кавалерийского полка из реченного города Переяслава, разве только, что многие мирные гражданки провожали полк, хотя погода не совсем благоприятствовала, по[тому] что шел затяжной дождь, или, как назвал его покойный Гребенка, ехидный, сиречь мелкий и продолжительный. Но, невзирая на этот ехидный дождь, многие из гражданок провожали усачей своих до села 14., другие — до местечка Борисполя, а остальные, и самые бескорыстные, провожали даже до пределов киевских, то есть до переправы на Днепре. А когда полк благополучно переправился, то и они, поплакавши немного, тоже переправились через Днепр и разбрелися по великому городу Киеву и скрыли свои преступления и стыд в глухих притонах всякого разврата.

Таковы результаты продолжительной стоянки самого благовоспитанного полка.

В тот же понедельник, поздно вечером, молодая женщина возвращалась в город Переяслав по Киевской дороге и, не доходя до города версты четыре, как раз против Требратних могил, свернула с дороги и скрылась в зеленом жите. Перед рассветом уже она вышла из жита на дорогу, неся на руках что-то завернутое в серую свитку. Пройдя немного по большой дороге, она остановилась у поворота и, подумавши немного, кивнула выразительно головою, как бы решаясь на что-то важное, пошла быстро по маленькой, поросшей спорышем дорожке, ведущей к хутору старого сотника Сокиры.

На другой день, поутру рано, т. е. во вторник, вышла пани Прасковья Тарасовна Сокириха покормить собственноручно всякую живность, как-то: цесарок, гусей, курей и т. д., а голубей будет довольствоваться уже сам пан сотник Никифор Федорович Сокира. Представьте же ее ужас, когда она, выходя на ганок, т. е. на крыльцо, из покоев, увидела около ганку серую свитку, шевелящуюся, как будто бы живую. И в испуге ей показалось, что свитка будто бы плачет, как дитя. Долго она смотрела на серую свитку, слушала, как она плачет, и сама не знала, что делать. Наконец, решила пригласить Никифора Федоровича.

Никифор Федорович вышел, что называется, неглиже. Однако все-таки в широких китайчатых красных шароварах.

— Посмотри, посмотри, мой голубе, что это у нас делается, — говорит испуганная Прасковья Тарасовна.

— Что же тут у нас делается? Я ничего не вижу, — говорит Никифор Федорович.

— А свитка, разве не видишь?

— Вижу свитку.

— А разве не видишь, что она шевелится, как будто живая?

— Вижу. Так что ж, пускай себе шевелится, Бог с нею.

— Каменный ты человек. Разве не надо посмотреть, отчего она шевелится, а?

— Ну, так посмотри, коли тебе хочется.

— А тебе не хочется?

— Нет.

— Так вот же посмотри ты прежде, а потом и я посмотрю.

— Хорошо.

И с этим словом он подошел к свитке, развернул ее осторожно и — о ужас! Он не мог выговорить ни слова, только указал выразительно пальцем на развернутую свитку и стоял в этом положении с минуту, а очнувшись от изумления, вскрикнул: «Параско!» Старушка бросилась к нему и также в изумлении остановилась перед развернутой свиткой с поднятыми руками. Немного простояв в этом комитрагическом положении, она воскликнула:

— Святой великомучениче Иване Воине, что ты с нами делаешь?

И, обратясь к Никифору Федоровичу, сказала:

— Вот видишь, я недаром видела во сне двух маленьких телят. Я тебе говорила, что что-нибудь, а непременно да случится.

— Ну, благодарим Тебе, Господи наш милосердый, — проговорила она, крестясь и бережно подымая вместе со свиткой двух красненьких малюток, — наградил-таки Ты нас, Господи, на старости лет.

— Неси ж их, Парасковие, в дом наш, а я тым часом пошлю в город за Притулыхою, пускай она их по-своему в травах искупает, да, может быть, и еще что нужно им сделать.

— Ах! и в самом деле! Посмотри, у их, сердечных, и пупки зеленою соломинкою перевязаны.

— Ну, так отнеси ж их! А я пошлю Клыма за Притулыхою, — сказал не совсем спокойно Никифор Федорович и пошел отдавать приказание.

Надо вам сказать, что эта старая добрая чета, проживши много лет в мире и благополучии, не имела ни единого детища, как говорится в сказке о Еруслане Лазаревиче: «Смолоду на потеху, под старость на помогу, а по смерти на вспомин души». Они, бедные, долго и усердно молились Богу и надеялись, наконец, и надеяться перестали. Они вже думали, сердечные, хоть бы чужое дитя воспитать за свое, так что же будешь делать? Хоть и есть бедные сироты, так добрые люди разбирают, а им не дают, потому что они, видите, паны, а с паныча, говорят они, добра не будет. Еще прошлого весною ездил Никифор Федорович в местечко Березань, прослышавши, что там после бедной вдовы осталось двое сирот, мальчик и девочка, так что ж? И тех взял барышевский тытарь, человек вдовый и бездетный, а богач темный. Так и вернулся ни с чем домой Никифор Федорович. И вдруг великой своей благодатью Господь посетил их праведную и добродетельную старость.

Радостно, неизреченно радостно встретили они и проводили вторник. А в среду перед вечером приехал к ним искренний друг их, Карло Осипович Гарт, таки аптекарь переяславский, и, по обыкновению, приложившись к руке Прасковьи Тарасовны и поздоровавшись с Никифором Федоровичем, понюхал из раковинной табакерки, которую прислал ему в знак памяти друг его и товарищ, тоже аптекарь в Аккермане или в Дубоссарах, Осип Карлович Шварц. Понюхал табаку и, сядясь на скамейку перед ганком, сказал почти по-русски:

— У наш городе новость новость догоняет. Сегодня Андрея Ивановича приглашали свидетельствовать женское тело, случайно найденное в Альте, около вашего хутора, а вы, верно, ничего этого не знаете? — Сделавши такой вопрос, он снова открыл раковинную табакерку и воткнул в нее два пальца. Хозяева значительно переглянулись между собою и молчали. А Карло Осипович продолжал:

— Да, когда я был еще студентом в Дорпате, там тоже тогда стояла кавалерия, а когда вышла из Дорпата, так тоже три или четыре трупа женских принесли из полиции к нам в анатомический театр. Полиции все равно, они не знают, что для нашей науки удобнее мужское тело, а женское не так удобно: много жиру, до мускула не доберешься.

— Вот что! — прервала его Прасковья Тарасовна. — У меня к вам просьба, Карло Осипович, чи не пожалуете вы к нам кумом? Нам Господь деточек даровал.

— Как так? — вскрикнул изумленный Карло Осипович.

— Так, просто, около ганку нашли вчера двух ангелов Божиих.

— Удивительно! — воскликнул снова Карло Осипович и опустил руку в карман за табакеркою.

— А я попрошу еще и Кулыну Ефремовну. Она тоже немка, вот вы и породнитесь.

— Нет, она совсем не немка, она только из *Митавы*. Но это ничего. Я очень, очень рад такому случаю.

Карл Осипович, обрадованный таким приятным предложением, не мог, по обыкновению, провести вечер с своими искренними друзьями, вскоре распрощался и уехал в город, чтобы известить Кулыну Ефремовну о предстоящем событии. Расставшись с Карлом Осиповичем, старики несколько времени смотрели друг на друга и молчали. Первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.

— Как ты думаешь, Никифоре, не отслужить ли нам в следующую субботу панихиду по утопленнице? Ведь она должна быть их настоящая мать.

— И я так думаю, что настоящая. Только нужно будет подождать до Клечальной субботы, а то Бог ее знает, быть может, она самоубийца, то как бы еще греха не наделать.

— Хорошо, подождем. Теперь уж недалеко Зеленое воскресенье. Да... посмотри, пожалуйста, какого завтра святого, как мы назовем своих детей, ведь они обое мальчики.

Никифор Федорович достал киевский «Каноник» и, вооружась очками, начал перелистывать книгу, ища июня месяца. Найдя месяц и число, он в восторге перекрестился и воскликнул:

— Парасковие! Завтра святых соловецких чудотворцев Зосима и Савватия!

— А нет ли еще других каких?

— Да зачем же тебе других еще? Ведь это святые заступники и покровители пчеловодства.

Он еще раз перекрестился, закрыл книгу и положил ее под образа. Нужно вам сказать, что Никифор Федорович был страстный пасичник, и вдобавок искусный пасичник. Поэтому Прасковья Тарасовна и не смела сказать, что имена были не совсем в ее вкусе.

Вскоре после этого старики молча повечеряли и, помоляся Богу, разошлись спать — Никифор Федорович в комнату, а Прасковья Тарасовна в свою светлицу, где, разумеется, были помещены и маленькие близнецы.

Таким-то важным для добрых стариков [событием] был ознаменован выход кавалерийского полка из города Переяслава.

Для краткости этой истории не нужно было бы описывать со всеми подробностями ни хутора, ниже его мирных обитателей, тем более, что история сия весьма мало, так сказать, мимоходом их касается. Настоящие же мои герои вчера только увидели свет Божий. Так что же, спрашиваю вас, можно сказать интересного про них сегодня? А потому-то я, подумавши хорошенько, и решил описать и хутор, и его мирных обитателей для того токмо, чтобы терпеливый мой читатель или читательница могли ясно видеть, чем и кем было окружено детство и отрочество моих будущих героев. Пословица справедливо гласит: «Каков из колыбельки, таков в могилку». А вот мы и увидим, в какой степени эта пословица справедлива. Еще говорят, что живые детские впечатления так живучи, что умирают только вместе с нами,

и что воспитанием ничего не сделаешь из юноши, если его детство было окружено грубою декорацией и такими же актерами, и что детство, проведенное на лоне божественной природы и на лоне любящей прекрасной матери и христианина отца, — что такие прекрасные впечатления неоторимой стеною станут вокруг человека и защитят его на дороге жизни от всех мерзостей коловратного света.

Посмотрим, в какой степени можно верить сей непреложной истине.

Чтобы избежать оригинальности, которою так любят щегольнуть юные повествователи наших дней и которые, возлюбив всем сердцем и всем помышлением французские уродливые повествования, наперерыв подражают им и в простоте юного и уже отчасти растерзанного сердца верят, что они оригинальнее самого полубога А Дюма (блаженны верующие, я же неверующий Фома), начну старыми словесы повествование мое тако.

Сначала опишу со тщанием место, т. [е.] пейзаж; потом опишу действующих лиц, их домашний быт, характеры, привычки, недостатки и добродетели, а потом уже, по мере сил, приступлю к драме, т. е. к самому действию. Метода, или манера, эта не новая, но зато хорошая манера. А хорошее, как говорят, не стареет, исключая хорошенькую кокетку, которая, увя! увядает преждевременно.

Начнем же так. На правом берегу хотя и скудной, но знаменитой реки Альты расположен хутор старого сотника Сокиры, верстах в четырех от города Переяслава, словом, против того самого места, где бешеный честолюбец, окаянный Святополк, зарезал родного праведного брата своего Глеба, и на этом же месте, по сказанию Конисского, совершилась кровавая, или Тарасова, ночь в 1547 году. Так против этого святого места расположен хутор сотника Сокиры, сам по себе не очень живописный, по причине опрятности, доведенной до педантизма. Но зато окрестности окупались чистым рюисдалевским пейзажем. Берега Альты устланы зеленым высоким камышом, так что самую реку и не видно, разве только против Сокириного хутора. Густые зеленые камыши разрезаются на широком пространстве группами широковетвистых верб и старых осокоров. На левом берегу Альты выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением христоролюбивых граждан г. Переяслава над тем самым каменным столбом, который знаменовал место убиения невинного Глеба. За оградю церкви до самого города расстилается равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная историческими могилами. И чем ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так что городского валу издали совсем не видно и весь город кажется на могилах построен. Сам же город Переяслав, как и вообще города, издали кажется в тумане, но над городом из тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная готическим зеленым куполом с золотою главою. Это соборный храм прекрасной, грациозной, полуурококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой Иваном Мазепою в 1690 году. Другая же темная деревянная башня с плоской осьмиугольной крышей полуотделяется от серенького фону. Это Успенская церковь, прославленная в 1654 году принятием присяги на верность московскому царю Алексею Михайловичу гетманом Зиновием Богданом Хмельницким со старшинами и с депутатами всех сословий народа украинского.

Далеко за городом синеют высокие днепровские горы.

Геральдический дуб дома Сокиры не восходит до баснословной вышины и насажден в темной дворянской дуброве дедом Никифора Федоровича Карпом Сокирою, голштинцем, возвратившимся из Петербурга после кончины императора Петра III не, по примеру прочих голштинцев, наг и гладен, а с порядочным мешком голландских червонцев, с чином гвардейского ротмистра и с правом потомственного дворянина. Возвратясь в свой родной Переяслав, он, [к] его великой радости, беспрепятственно женился на дочери тогдашнего

полковника переяславского цыгана Иваненка и получил за женою в приданое хутор со всеми угодьями и несколькими сотнями [десятин] пахотной и луговой земли на берегах речки Альты.

Через год же или через два оставил свою молодую жену и годовалого сына, записался портупей-майором в себулдинцы и ушел с полком за пределы Малороссии. Вскоре начали себулдинцев обращать в регулярные войска, чему немало сопротивлялся и майор Сокира, за что с прочими супротивниками и был казнен в четырех городах, на четырех площадях в один день. Право же дворянства было оставлено его малолетнему сыну. Так трагически кончил свою карьеру насадитель родословного дуба дома Сокиры Карпо Сокира, голштинец.

Юный Федор Сокира, оставшись единственным наследником прав и состояния отца и единственным сыном чадолюбивой матери, оказался порядочный мальчик, несмотря на заботливость нежной матери. Он изрядно выучился читать печать церковную и гражданскую, письму и благозвучному церковному пению, и всему этому выучил его добронравный соборный дьяк Степан Перепелыця, невзирая на все увещевания нежнейшей матери.

В то счастливое время, хотя дворяне и не находили надобности в просвещении или, лучше, им не приказывали просвещаться, однако ж юный Федор бессознательно чувствовал благо просвещения и неотступно просил маменьку, чтобы она отвезла его в Киев и отдала учиться в бурсу.

После долгих настоятельных просьб сына маменька, наконец, решилась отвезти его в киевскую бурсу. Определивши его в бурсу, отдала под надзор тогдашнему инспектору бурсы, или академии, отцу Дионисию Кушке, старцу суровому и богобоязненному; а отдала она его для того под надзор, чтобы дитя малое не выучилось иногда воровству и разбойничеству.

На бурсацкой скамье или на Подольском базаре подружился он с знаменитыми впоследствии Иваном Левандою, Григорием Гречкою и тогда уже философом Григорием Сковородою, а больше ничем не ознаменовалась его бурсацкая жизнь. Учился он хорошо, а кончил тем, что [когда] однажды, приехавши славные запорожцы на подворье свое в Киев провожать товарища своего Ярмолу Кичку в Межигорский монастырь, устроили брату приличное прощание со светом, то есть закупили на Подоле горилку, разлили ее в ушаты и с цеховою музыкою пошли торжественно в Межигорье, потчюя встречного и поперечного братскою горилкою из мыхайлыка, а прощавшийся со светом брат знай себе танцует впереди музыкантов, — прельстился такою прекрасною картиною уже не совсем юный Федор Сокира и, не долго думавши, спрыгнул с высокой стены Братского монастыря (ворота для такого случая были заперты) и присоединился к запорожской братии. После этого происшествия след его оказался на Великом Запорожском Лугу, и в числе запорожских депутатов, вместе с Головатым, он является Екатерине Великой. Потом является на нецеремонном обеде у генерала Текелия. И, по уничтожении низового запорожского войска, возвращается благополучно в город Переяслав с чином капитана и правами потомственного дворянина.

Отслуживши панихиду по своей матери, он зажил добрым селянином на своем родовом хуторе и в непродолжительном времени женился.

В это-то счастливое время возобновил он свое школьное знакомство с соборным протоиереем Григорием Гречкою, а через него и с знаменитым уже витиею Иваном Левандою и уже с настоящим философом Григорием Сковородою. А между тем сын его первородный, Никифор, выросал. А отец, заболтавшись с мистиком-философом, думал, думал, как бы просветить сына, да, не додумавши, взял да и умер. А юный сын, что называется, и остался в дураках.

Но благому Провидению угодно было заступить прекрасного и безродного юношу от мрака

невежества, а быть может, и вынести из пучины разврата. И [оно] послало ему благочестивого и премудрого просветителя и заступника в лице отца Григория Гречки, протоиерея переяславского.

Если не можешь ты говорить о ближнем доброго, то о худом его не говори. Евангельское правило, но увы! не всегда удобоприменимо в жизни нашей, исполненной греха и клеветы. Мне же, как ретивому поклоннику святой правды, необходимо сказать несколько слов о матери юного Сокиры, таких, что хоть бы и не говорить. Добрая слава для нас свята, но для женщины и тем паче; она же, к несчастью, не пользовалась доброю славою, а быть может, и пото[му прославилась] на всю область Переяславскую, и была похищена из дому родительского Федором Сокирою, и тайно обвенчалась за границую, т. е. за Днепром, в Трахтемирове. Следовательно, они сочетались по увлечению, а брак по увлечению, всем известно, редко бывает счастлив. Так, может быть, кумушки-голубушки отчасти и не совсем клеветали. Как бы то ни было, но только отец Григорий рассудил, что лучше будет взять дытуну на свои руки. И, по-моему, он поступил благоразумно и великодушно, потому что я плохо верую в воспитание самых добродетельных матерей, тем более, если у них одно единственное дитя.

Так как юному Сокире подходило к седьмому году, то отец Григорий в одно пасмурное утро продиктовал мальчику молитву перед началом учения и развернул перед ним букварь. Каково же было его удивление, когда мальчик, не запинаясь, прочел ему всю азбуку. «Добрый знак», — подумал отец Григорий и показал ему буки аз — ба и т. д. Заметя вскоре понятливость и добронравие в мальчике, он начал его учить, кроме славянского, еще трем языкам: еврейскому, греческому и римскому. Он, вероятно, предполагал из него сделать доктора по крайней мере любомудрия, сиречь философии. Но юноша, не подозревая великих планов своего великого учителя, подвизался себе втихомолку и на десятом году возраста бегло читал Давида, Гомера и Горация. А на одиннадцатом году возраста поздравил своего наставника с Новым годом на всех четырех языках, прочитавши ему вирши, написанные в Киевской д[уховной] а[кадемии] в честь митрополита киевского Серапиона на четырех языках. Наставник, в восторге обнявши ученика, проговорил: «Зерно упало на добрую землю». Но все-таки предположение сделать из Сокиры философа всех наук не сбылось.

На пятнадцатом году своего возраста начал он учиться у своего учителя музыке. Отец Григорий знал, что [для] вящего облагорожения сердца человеческого необходима музыка. И для того просил письмом друга своего философа Сковороду показать своему любимцу начальные основания музыки. Философ не медлил явиться в Переяслав с своими неразлучными друзьями, с флейтою и собакою, и с успехом начал преподавать сладкозвучие. И с таким успехом, что с небольшим через год они уже вдвоем с учеником [распевали] разные канты и дуэты. А в день ангела отца Григория, после ужина, к великому восторгу гостей, спели они, с аккомпаниманом на гусях, сатирическую песню Сковороды, которая начинается так:

Всякому городу нрав и права,
Всяка имеет свой ум голова.

Сокира молодой, действительно, делал большие успехи в познании музыки, если принять в соображение истинно философскую небрежность преподавателя. Мистик-философ, бывало, наденет на себя серую свитку, накроет голову соломенным брылем, флейту в руку и марш куда глаза глядят. А верный спутник его за ним. Бывало, пойдет в Березань, в 30 верстах от Переяслава. По дороге зайдет на древнюю высокую могилу, называемую *Выбла*, и зайдет на могилу единственно за вдохновением. И, почерпнувши из недр ее малую толику сего, богам единым свойственного дара, спешил делиться сею благодатию с другом своим Якимом Лукашевичем в Березани. Проживя неделю у друга, идет навестить другого, а там третьего, а

через месяц, смотришь, он уже в Киеве. Сидит с другом своим Иваном Левандою на скамеечке у ворот и читает импровизированную диссертацию о связи души человеческой с светилами небесными, а вития наш знаменитый, независимо от дружной диссертации, готовит к следующему воскресенью проповедь. Проживя немало в Киеве, он очутится в Стайках, а оттуда в Трахтемирове, а там через день и в Переяславе. Преподавши урок музыки, снова пускался навещать друзей своих, только уже через Яготин до Полтавы и далее.

Гречка намерен был уже писать к Бортнянскому (также своему товарищу по бурсе), потому что видел в молодом Сокире решительный гений музыки и голос архангельский, но судьбе угодно было совершенно иначе распорядиться.

Быстро приближался событиями чреватый 1812 год, а юному Сокире скончился 19 со дня рождения.

Наконец, разрешился от бремени своими чудовищами-чадами страшный 12 год. Как жертва всесожжения, вспыхнула святая белокаменная, и из конца в конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать вражескою кровью великий пожар московский.

Достиг этот судорожный клич и до пределов нашей мирной Украины. Зашевелилася она, моя родная маты: зашевелилося охочекомонное и охочепешее ополчение малороссийское. Не выдержал мой юноша, разбил псалтырь и гусли. Бежал и в городе Пирятине записался в полк под начало пирятинского полковника Николая Свички.

Узнавши все и вся, Гречка просил письмом друга своего Николая Свичку не покидать его питомца на кровавом военном поприще, что друг исполнил, как заботливый отец. Назначив юноше первый уряд, полковник Свичка с полком своим выступил из славного города Пирятин на супротивного галла и на двадесят язык.

Когда полк проходил через г. Переяслав, то отец Григорий во главе духовенства встретил воинство у стен града, осенил его крестным знаменем и оросил святою водою. Когда же подошел к чаду души своей, то, возведя горе полные слез очи, проговорил: «Господи, заступи тебя и сохрани тебя».

Когда кровавые события пришли к желанному концу и зубастого французского зверя заперли в английскую конуру, то и наше славное воинство разбрелось по хуторах и селах и, сложа доспехи бранные, взялося за плуги и рала.

В половине 15 года возвратился Сокира в родной свой Переяслав с чином сотника и, [к] великой своей скорби, не нашел в живых своего благодетеля отца Григория. Он нашел только в городской ратуше духовное завещание покойника на свое имя, в котором незабвенный благодетель отказал ему i часть своей библиотеки, состоящей из дорогих изданий древних классиков, еврейскую Библию, французскую энциклопедию и рукописный экземпляр летописи Конисского, на первом листке которого было написано собственною рукою преосвященного тако: «Юному моему другу и собрату Григорию Гречке, доктору богословия и других наук, на память посылает смиренный Г. Конисский». Кроме библиотеки, отказал он ему еще дорогую скрипку и свои любимые гусли с изображением на внутренней части двух пляшущих пастушек с посошками и пастушка, под липою у ручья играющего на флейте.

С самого начала он отслужил панихиду по праведной душе своего благодетеля и, перенесши на опустелый свой хутор драгоценное наследство (мать его тоже скончалась), он начал приводить свою дедовщину [в порядок] и, уладивши на скорую руку что мог, он пригласил духовенство и сначала освятил собором возобновленную оселю, а потом собором отслужили

панихиду о успокоении душ отца, матери, и всех ближних родственников, и ближайшего, искреннейшего своего друга и благодетеля отца Григория. По совершении богослужения, по примеру предков своих, он накормил разного чина людей около 1000 душ, исключая все городское духовенство и шляхетный класс.

Когда он остался на своем хуторе один, скучно ему стало. Долго, несколько месяцев скучал он и не знал, что с собой делать. Только однажды вечером и вспомнил он святое изречение: «Не удобно человеку жити єдину».

На другой день рано, оседлавши коня, поехал он в Сулимовку. Там у него, когда он еще не ходил на войну, росла на примете маленькая девочка у небогатого панка. Презря обычаи отцов, он без посредства сватов переговорил с отцом, с матерью, а тут же с невестою, та, не говоря худого слова, после Р[ождества] Х[ристов]а и перевенчались.

После такой скоропостижной свадьбы невозможно было рассчитывать на семейные радости, а вышла благодать, да и благодать-то еще какая. Во-первых, молодая жена Сокиры — красавица, да еще и красавица какая! дай Бог другому хоть во сне увидеть такую красавицу. А во-вторых, самого чистого, непорочного сердца и нрава тихого и покорного. Одним словом, над нею и внутри ее было Божие благословение. Одно, что можно было сказать про нее не то чтобы худое, но немного смешное. Ей, бедной, удалось прошедшее лето погостить месяц у своих богатых родственниц в местечке Оглаве. А родственницы эти только что возвратились из Киева, или, лучше сказать, из какого-то киевского пансиона. И были чрезвычайно образованны. Тут-то она, бедная, и пошатнулась. От нихто она узнала, что грамоте их учат не для одного молитвенника, а еще кое для чего. И что высшее блаженство благовоспитанной барышни — это носить лиф как можно выше и обворожать кавалеров. А песень-то, песень каких восхитительных она у них позанялась — и как «стонет голубок», и как «дуб той при долине, как рекрут на часах», и как «пастушка купается в прозрачных струях», и как «закричала ах! увидевши нескромного пастуха», и даже «О Фалилей! о Фалилей» и ту выучила. Да и как же было не выучиться от таких образованных барышень! Они же, волшебницы, еще и на гитаре играли. Это бросилось в глаза молодому мужу. Но он рассудил, что самое лучшее — не обращать на ее песни внимания: попоет, попоет, да и перестанет, если некому будет [слушать] ее модных песень. А иногда так даже и подтрунивал. Особенно, когда проходил день втихомолку, без песень.

— Что же это ты, Параско, — скажет бывало, — сегодня целый день молчишь? Хоть бы спела какую-нибудь иностранную песенку.

— Какую там выдумал еще иностранную?

— Ну, хоть как та «пастушка полоскалася в струях».

— Не хочу. Сам, коли хочешь, пой.

— Хорошо, и я спою.

И он медленно раскрывал гусли и, тихо аккомпанируя на них, пел своим чарующим тенором с самым глубоким чувством:

Не ходы, Грыцю, на ти вечерныци.

И когда кончал песню, то жена падала в его объятия и заливалась горчайшими слезами. А он тогда говорил ей, цалуя:

— Вот это настоящая модная песня.

Так он ее мало-помалу и совсем отстранил от современного просвещения.

А о богатых образованных родственницах и о их модных песнях с тех пор и помину не было.

Ласками и насмешками он довел ее до того, что она сама начала смеяться над стрекозиными талиями переяславских панночек и по долгом размышлении оделась в национальный свой костюм, к величайшей радости своего мужа.

И, Боже мой! Как она хороша была в родном своем наряде! Так хороша, так хороша, что если бы я был банкиром, по крайней мере таким, как Ротшильд, то я иначе не одевал бы свою баронессу.

Но, увы! не всем нам судьба судила вкусить в жизни нашей таких великих радостей, какими упивался Сокира. И он вполне ценил эту благодать Божию.

Любуясь своей красавицею Параскою, он не забывал и физических своих потребностей, или, лучше сказать, они сами за себя напоминали. Осмотревши сначала свою дедовщину, он по долгом размышлении решил, что пахотную землю [надо] отдать с половины сулиминским козакам. При хуторе крестьян не имелось. Он, правда, и рад был, что их не имелось. (Он смотрел на этот класс нашего народонаселения истинным филантропом.) Побережье реки Альты оставил он за собою ради домашней скотины и выкашивал тучные луга *толокою*. В липовой же роще и леваде, прилегавшей к самому хутору, он решился возобновить отцовскую пасику. И это сделалось его любимую мечтою. Да и, правду сказать, что может быть невиннее из всех промыслов наших пасики? Он не медля написал в Стародуб, чтобы к весне прислали ему пасичныка. Тогда еще не было Прокоповича, теперь славного пчеловода. И, следовательно, нужда заставляла обращаться к самоучкам пасичныкам.

Учрежденная им в липовой роще пасика с помощью еленского старообрядца год от году множилась и в продолжение пяти счастливых лет умножилась до 5000 пней. Господь благословил его начинание. Теперь он был паном на всю губу. Пасикою своею он отстранил от себя всякое корыстное и необходимое соприкосновение с людьми, а с тем вместе и все пошрое и низкое.

Счастливый, стократ счастливый человек, умевший отстранить от себя все недостойное человека и довольствоваться только благом, приобретенным собственными трудами.

Такой счастливец был Никифор Сокира.

В бытность свою в немецких землях он не мимоходом замечал немецкий сельский быт и теперь приноровил его к своему хутору. Та же немецкая чистота и порядок во всем. Правда, что нашего брата художника не поражал своею наружностью хутор Сокиры, зато нехудожника поражал порядком.

Из всех славянок землячки мои чернобривые пользуются вполне заслуженною славою опрятных хозяек. Но у мадам Сокиры эта статья была доведена до крайней степени. Ей обыкновенно, бывало, и во сне снится, что у нее в доме пол не вымыт или в кухне не смазан. Так чтобы эта дрянь не возмущала ее невинного сна, то она заставляла Марину каждый божий день пол вымыть, да еще и выскоблить. И достаточно, кажись. Так нет, а еще и киевским песком посыпать, таким песком, какой вы найдете не у всякого губернатора и в канцелярии. Она сама его привозила каждый год из Киева, когда ездила туда к 16 августа.

Карло Осипович говаривал всегда и всякому, что если он видел рай на земле, так это именно в доме Прасковьи Тарасовны, а больше нигде.

В пасике отражалась та же чистота и порядок, что и в доме. И как были кстати тут Вергилиевы «Георгики», которые любил прочитывать Никифор Федорович, лежа под соломенным навесом. Ни одна душа во всем Переяславе не знала, что старый пасичнык (его так прозвали за его тихий нрав и медленную походку), что старый пасичнык читал в подлиннике Вергилия, Гомера и Давида. Примерная, удивительная скромность! Я сам, будучи его хорошим приятелем, часто гостил у него по нескольку дней и, кроме Конисского летописи, не видал даже бердичевского календаря в доме. Видел только дубовый шкаф в комнате и больше ничего. Летопись же Конисского, в роскошном переплете, постоянно лежала на столе, и всегда заставлял я ее раскрытую. Никифор Федорович несколько раз прочитывал ее, но самого конца ни разу. Все, все мерзости, все бесчеловечия польские, шведскую войну, Биронового брата, который у стародубских матерей отнимал детей грудных и давал им щенят кормить грудью для своей псарни, — и это прочитывал, но как дойдет до голштинского полковника Крыжановского, плюнет, и закроет книгу, и еще раз плюнет.

Раз как-то я приезжаю к нему с книжкою «Украинского вестника», в которой были напечатаны Гулаком-Артемовским две оды Горация (гениальная пародия!), и, прочитавши оды «До Пархома», мы от чистого сердца смеялись с Прасковьей Тарасовной. А он отворил дубовый шкаф, вынул оттуда книгу в собачьем переплете и, раскрывая ее, проговорил: «А ну, посмотрим, верно ли оно будет с подлинником». И тут-то я только увидел перед собою латиниста, эллиниста и гебраиста, и полнешенек шкаф книг, вмещающих в себе словесность всего древнего мира.

А он, прочитавши вслух подлинник, закрыл книгу, поставил ее на свое место и, ходя тихо по комнате, читал про себя

Пархоме, в счастья не брыкай.

.....

— Превосходно! И в точности верно! — проговорил он вслух.

Я и прежде глубоко уважал его за его во всех отношениях возвышенный характер, а тепер я, благоговей, исчезал перед его чисто рыцарскою скромностию.

— Что же это мы все как воды в рот набрали? — проговорила Прасковья Тарасовна. — Хоть бы повечерять пока засвитла.

— А что ж, когда вечерять, так и вечерять, я и на то готов. Ужин был подан на ганке, и к концу его показалася из[-за] темного Переяслава полная красавица луна. Мы все трое замолкли и только переглянулись между собою. Картина была так хороша, что только в немом благоговении можно было созерцать ее.

Меня пригласил с собою Никифор Федорович в пасику ночувать, на что я, разумеется, и согласился охотно.

Не было другой такой ночи в моей жизни, да, верно, и не будет. Долго беседовали мы с ним о разных предметах и случайно коснулись моей слабой струны, народных наших песень. Ни один профессор словесности в мире не прочитывал [так] своей лекции о значении, влиянии и достоинстве народных песень. И с какой глубокой любовью изучил он слова и мотивы наших прекрасных задушевных песень.

— Да, — говорил он, — после этой трогательно простой прелести наших песен что значат уродливые создания современных нам романсов? Кроме безнравственности, ничего более. — И чрезвычайно деликатно коснулся песен покойного своего учителя музыки Сковороды. Он сказал: — Это был Диоген наших дней, и если б не сочинял он своих винегретных песен, то было бы лучше. А то, види[те] ли, нашлись и подражатели. Хоть бы и князь Шаховской или Котляревский. В своей оде в честь к[нязя] К[уракина] — сколок Сковороды. Только та разница, что учитель мой, как истинный философ, никому не льстил.

«Энеида» Котляревского в то время еще не была напечатана.

Я, как собиратель народных песен, много записал у него вариантов и самих песен, нигде мною прежде не слыханных.

Ко всем его прекраснейшим качествам принадлежит его наипрекраснейшее качество: он был в высокой степени религиозен. Любимейшим его чтением был Новый Завет. Он всем сердцем своим и всем помышлением своим сознавал и глубоко чувствовал священные истины евангельские. Каждое воскресенье и каждый праздник он ездил к обедне с женою в соборный храм Благовещения. Вместе с прекрасной, гармонической архитектурой храма на него действовало и пение семинаристов. Но когда поставили в храме новый иконостас, гармония архитектуры исчезла. И он стал ездить к обедне в Успенскую церковь, в ту самую, в которой в 1654 [г.] генва[ря 8] дал присягу З[иновий] Б[огдан] Х[мельницкий] со всякого чина народом на верность московскому царю Алексею Михайловичу. Но когда, возобновляя исторический памятник этот, из шести куполов уничтожили пять, экономии ради, то он стал ездить к Покрову. Церковь во имя Покрова, неуклюжей и бесхарактерной архитектуры, воздвигнутая в знамение взятия Азова П[етром] П[ервым] полковником переяславским Мировичем, другом и соучастником проклинаемого Ивана Мазепы. В этой церкви хранится замечательная историческая картина кисти, можно думать, *Матвеева*, если не иностранца какого. Картина разделена на две части: вверху — Покров Пресвятыя Богородицы, а внизу — П[етр] П[ервый] с и[мператрицей] Е[катериной] I, а вокруг их все знаменитые сподвижники его. В том числе и г[етман] Мазепа, и ктитор храма во всех своих регалиях.

Прослушавши литургию, Никифор Федорович подходил к образу Покрова и долго любовался им и рассказывал своей любопытной Прасковий, что такие были за люди, под кровом Божия Матери изображенные.

Иногда он рассказывал с такими подробностями про Даниловича и разрушенный им Батурин, что Прасковья Тарасовна наивно спрашивала мужа: «За что ж она его покрывает?»

Как ни переполнена чаша счастья, а всегда найдется место для капли яду.

Для полного счастья Сокире чего бы не доставало? А ему не доставало самого высшего блаженства в жизни — детей.

Лет шесть уже минуло, когда на хуторе у старого сотника Сокиры, невзирая на отца протоиерея и прочий чин духовный, Никифор Федорович вынул свою скрипку (потому что гусли не соответствовали песне) и заиграл, припевая:

Ой хто до кого, а я до Параски.

Причем Прасковья Тарасовна плюнула и вышла из покою. А Карло Осипович и Кулына Ефремовна, не говоря ни слова и также невзирая на чин духовный, схватившись за руки, да и пошли выплясывать:

O mein lieber Augustin.

И в тот же вечер другая пара, кум с кумою, едучи в город от Сокиры, пели тихонько в два голоса:

Одна гора высокая,
А другая близька.

А отца протоиерея и братию на ту ночь положили спать в новой коморе, потому что ночь была бурная, так что [б] чего, Боже сохрани, не случилось. Карло ж Осипович и Кулына Ефремовна, поплясавши в свое удовольствие и сказавши хозяевам «gute Nacht», сели в свою беду и поехали в город, разговаривая себе тихонько и все по-немецки.

То был великий и радостный день для бездетного Никифора Федоровича и Прасковьи Тарасовны. Они в тот день окрестили и усыновили двух близнецов-подкидышей и [так] бучно отпраздновали крестины, что повивальная бабка долго после того говорила, что «родилась, окрестилась и умру — не увижу таких хороших крестин, как были у старого сотника».

Минуло шесть лет после такого великого события в доме Сокиры, когда перед вечером сидели они, т. е. хозяйева, на ганку с нерушимым другом своим Карлом Осиповичем. Перед ними на темно-зеленом лужку, примыкающему к самой Альте, резвилось двое детей в красных рубашках, точно два красные мотылька мелькали на темной зелени. С крылечка все трое молча любовались ими, и казалось, что у всех трех собеседников вместе с зрением и мысли были устремлены на детей. После продолжительного созерцания первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.

— Рассудите вы нас, голубчику Карло Осипович, что нам делать. Я говорю, что дети еще малые. А Никифор Федорович говорит: «Это ничего, что малые, а учить надо». Где же тут, скажите-таки Х[риста] ради, правда? Ну, еще хоть бы годочек подождать, а то думает после Покрова уже и начинать.

— Да, да, начинать, давно пора начинать, — сказал Карло Осипович. — Я давно думаю об этом.

— Святая Варваро-великомученице! Боитесь ли вы Бога, Карло Осипович?

— Боюсь, очень боюсь, Прасковья Тарасовна, и скажу вам, что когда мне было только пять лет, то я уже читал наизусть кой-что из Шиллера. Покойный Коцебу сказал раз, когда я ему прочитал его стихи наизусть, что из меня будет великий поэт. А на деле вышел маленький фармацевт. Вот что, Прасковья Тарасовна. И великие люди иногда ошибаются.

— Да это ничего, пускай себе ошибаются, только рассудите сами: после Покровы!

— Да, да, чем скорее, тем лучше.

«Ну, догадалась же я, у кого защиты просить», — подумала Прасковья Тарасовна, но не проговорила. А Карло Осипович, нюхая табак, приговаривал:

— Да, да, надобно учить. Ваша пословица говорит, что «за ученого двух неученых дают, да не берут».

— Так вот что. Мы вас, Карло Осипович, слушаем, как самого Бога. Подождите, мои голубчики, хоть до Филипповки. Там даст Бог пост, время такое тихое, — им, моим рыбочкам, все-таки легче будет.

— До Филипповки... Как вы думаете, Карло Осипович, можно подождать? — проговорил Никифор Федорович.

— Нельзя. «Жизнь коротка, а наука вечна», — говорит великий Гете.

— Господи, что я наделала? — подумала Прасковья Тарасовна. — Зачем я ему говорила о детях? Теперь уж, я знаю, добра не будет. Ну, уж вы там себе как хотите, — проговорила она вслух, — а я вам до Филипповки не дам детей мучить.

— Хоть кол на голове теши, а она свое, — проговорил Никифор Федорович. — И скажи, откуда ты такой натуры набралась?

— Да от вас же и набралась. Вы по-моему ничего не хотите сделать, то я и по-вашему тоже не хочу.

В это время дети подбежали к крыльцу. И Карло Осипович, лаская их, спросил:

— Ну, что ты, Зося, хочешь грамоты учиться? — Зося бойко сказал:

— Хочу.

— А ты, Ватя? Тоже учиться хочешь грамоты?

— Тоже хочу, — отвечал запинаясь Ватя.

— Вот видите, Прасковья Тарасовна, — сказал Карло Осипович, — а вы останавливаете их стремление!

— Та ну вас с Богом, Карло Осипович! Я уже не останавливаю. Только надо придумать, — говорила она, целуя и обнимая детей, — как это все устроить.

— Это правда, — сказал Никифор Федорович. — Вот что, Карло Осипович. Вы живете в городе и по профессии своей о встречаетесь с разного класса людьми. Не встретится ли вам иногда семинарист, хоть и не очень ученый, только бы не бойкий. Договорите его для наших детей.

— С большою радостью буду искать такого человека. У меня есть один знакомый семинарист, большой охотник химические опыты делать. Ну, такой не годится. А я у него буду выпрашивать.

— Сделайте милость, Карло Осипович. Вот мы их и засадим за тму, мну, моих голубчиков, — говорил Никифор Федорович, лаская детей.

Об этих детях как о будущих героях моего сказания я должен бы попространнее о них распространиться, но я не знаю, что можно сказать особенного о пятилетних детях. Дети, как и вообще дети: хорошенькие, полненькие, румяные, как недоспелая черешня, и больше ничего. Разве только, что они похожи друг на друга, как две черешневые, едва зарумянившиеся ягоды. А больше ничего.

После взаимных пожеланий покойной ночи Карло Осипович сел в свою беду и уехал в город. А Никифор Федорович, благословивши на сон грядущий детей, пошел в свою пасику. А Прасковья Тарасовна, уложивши детей и прочитавши молитвы на сон грядущий, зажгла ночник и тоже отошла ко сну.

По обыкновению своему Прасковья Тарасовна к 16 августа отправилась в Киев и, возвратясь из

Киева, между прочими игрушками и святыми вещами, как-то: шапочкой Ивана многострадального, колечками Варвары-великомученицы и многим множеством разной величины кипарисных образков, обделанных искусно фольгой, и между прочими редкостями она показала детям никогда прежде не привозимые для них игрушки. Да с виду они и не похожи на игрушки, а просто две дощечки, обернутые кожей. Каково же было их удивление, когда она развернула дощечки и там они увидели зеленые толстые листы бумаги, испещренные красными и черными чернилами. Радости и удивлению их не было конца. Невинные создания! Не знаете вы, какое зло затаено в этих разноцветных каракулях. Это источник ваших слез, величайший враг вашей детской и сладкой свободы. Словом, это букварь.

В ожидании 1 октября Прасковья Тарасовна сама исподволь стала учить разуметь таинственные изображения и за каждую выученную букву платила им сладким киевским бубличком. И, к немалому ее удивлению, дети через несколько дней читали наизусть всю азбуку. Правда, что и наволочка с бубличками почти опустела, что и заставило Прасковью Тарасовну приостановить преподавание. «Да притом же, — думала она, — уже близко и Покрова, так пускай же они, мои голубята, хоть это малое время на воле погуляют».

Светлый горизонт юной свободы моих героев покрывался тучами. Гроза быстро близилась и, наконец, как раз на Покрова, часу в 9-м утра, разразилась громом Карла Осиповича беды и явлением самого Карла Осиповича, а за ним, о ужас! и явлением чего-то длинного в затрапезном халате и в старой и короткой фризовой шинели (вероятно, шитой на вырост). Это был не кто другой, как сам светоч, или, проще, учитель, вырытый Карлом Осиповичем из грязных семинарских аудиторий.

Степан Мартынович Левицкий, как лицо соприкосновенное сему повествованию, то не мешает и о его персоне сказать слов несколько.

Он был один из многих сыновей беднейшего из всех на свете диаконов, отца диакона Мартына Левицкого, не помню хорошенько, из Глымязова или из Ирклиева, только помню, что Золотоношского повета.

Странные и непонятные распоряжения судьбы людской! Хоть такое, например, можно сказать, дикое распоряжение: Никифору Федоровичу, человеку достаточному, не послать за все его молитвы ни единого, что называется, чада, а бедно-беднейшему диакону завалить ими и без них тесную хату. И, как на смех, одно другого глупее и уродливее. Хоть бы, например, и предстоящий теперь перед лицом Никифора Федоровича научитель: безобразно длинная и тощая фигура, с такими же неуклюжими костлявыми руками; лицо опойкового цвета, с огромнейшим носом, выдавшимся вперед длинным, заостренным подбородком и с немалыми висячими ушами и вдобавок с распухшей нижней губой, так [что] очертаний рта нельзя было определить; очертания глаз тоже определить трудно, потому что они были заплывшие от сновидений. Внутренние достоинства Степана Мартыновича были в совершенной гармонии с наружными. Так, например, спросил его однажды профессор на экзамене: «А ты, Степа, скажи, что помнишь; я и тем буду доволен». И Степа, подумавши немало, сказал: «Я помню, как был пожар за Трубежом, да еще потом у Андрушах». — «Ну, хорошо, Степа, с тебя и это достаточно». Он никогда не просился на праздники домой, зная хорошо, что праздники обходят их полуразрушенную хату. А проводил праздник в тех же холодных, грязных классах, где провожал и Великую Четыредесятницу. Случилось как-то, что еще несколько товарищей остались на праздник в семинарии и, как добрые дети, послали своим родителям по письменному поздравлению с праздником, прося, в заключение витиеватого послания, прислать им к празднику того-сего по мелочи. По примеру братии и Степа вздумал рукотворить послание своим нищим родителям словесы такими:

По титуле.

«Дражайшие родители!

При отпуске сего листа из северного города, богоспасаемого Переяслава, я остаюсь ваш сын». И, подумавши, прибавил: «Я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы вы мне ради Р[ождества] Х[ристов]а прислали хоть ворочок пшена да кусок сала, а из лакомства хоть шкаповые сапоги и...» Тут он опять задумался, а коварный друг его, Лука Нестеровский, подкрался да и выхватил недоконченное письмо, показал его всей братии, — и пошла потеха. С тех пор его иначе и не звали, как «пожар в шкаповых сапогах». А он себе хоть бы кому слово сказал. Так молчком и отделался.

Пока рекомендовал Карло Осипович своего protégé Никифору Федоровичу, наймичка Марина внимательно смотрела на новое лицо и, рассмотревши его хорошенько, толкнула тихонько Прасковью Тарасовну и шепотом спросила, показывая глазами на Степана Мартыновича: «Чи воно живе?»

— Живе, — отвечала Прасковья Тарасовна и вышла из покоя, а за нею и Марина последовала.

— Вы мою просьбу переборщили, Карло Осипович. Я просил вас рекомендовать для детей наших учителя только не бойкого, а вы привезли какого-то *дида*.

— Ничего лучше быть не может для изучения алфавита малых детей, Никифор Федорович, — говорил Карло Осипович. — Для этого нужен только говорящий автомат, больше ничего. А где вы найдете, позвольте вам сказать, лучше этого экземпляра? Это просто золото для ваших малюток.

— Быть по-вашему. Так мы сегодня только уговоримся, а с завтрашнего дня и начнем с Богом.

— А почему же не сегодня? — спросил Карло Осипович.

— Потому, не во гнев вам будь сказано, что горбатого только могила исправит. Вы, что с вами ни делай, как родились немцем, так и в могилу сойдете тем же немцем.

— А вы, небойсь, пойдете в могилу турком или французом?

— Я дело другое, я, слава Богу, живу дома, а вы, Карло Осипович, на чужой стороне, следовательно, и не должны забывать, что у нас сегодня большой праздник, а в нашем приходе еще и храмовой.

— Так вы, значит, едете помолиться Богу? Хорошее дело, а я привезу вам его завтра рано. Насчет же условий мы уже с ним условились: карбованец в месяц и два гарнца пшена, а по окончании азбучки — халат хоть какой-нибудь да пару сапогов. Согласны?

— С удовольствием. — И они расстались.

На другой день, т. е. 2 октября, явился Степа один на хуторе и, прочитав обычную молитву, принялся за дело. И с той поры каждый божий день, какая бы погода ни стояла, дождь ли, снег ли, ни на что не смотря, шагал наш педагог из хутора и на хутор, поутру и ввечеру, не прибавляя и не убавляя шагу, как заведенная машина. Учение букваря, благодаря понятливости детей, быстро двигалось вперед. И Никифор Федорович, к великому

удовольствию своему, на деле увидел справедливость замечаний Карла Осиповича и многожды благодарил его за машину. И странная вещь: дети до того резвые, что не токмо Прасковья Тарасовна, сам Никифор Федорович не мог их успокоить, а только являлся учитель на двор, они делались такими же: безмолвны и недвижимы, как и он сам. И в продолжение урока сидели, как заколдованные, не смея даже согнать мухи с носу. А между тем от учителя в продолжение урока они слова не слышали постороннего. И это-то, я полагаю, и была причина их околдования.

К 1-му декабря, т. е. в продолжение двух месяцев, был выучен букварь до последней буквы, даже и «Иже хочет спастися». Прослушавши учеников своих последний урок, Степа торжественно встал, взял детей за руки и, подведя к Никифору Федоровичу, сказал:

— Букварь пришел к концу. Хоть экзаменуйте.

— Без всякого экзамена верю. Но что мы будем делать дальше, добрейший наш Степан Мартынович? Не возьмете ли вы до праздника показать им гражданскую грамоту?

— Могу показать. Даже можно начать хоть сегодня, только бы азбучка была.

— Нет, сегодня и завтра пускай они погуляют. А начнем послезавтра.

— Хорошо, — сказал Степа, взял картуз и поковылял в город. На лице его заметно было что-то вроде самодовольствия. Придя в город, он явился в аптеку и, увидя Карла Осиповича, сказал с расстановкою:

— *Совершил!*

Карл Осипович дружески пожал его костлявую руку, благодаря за услугу, и попросил его остаться обедать, забывая, что Степан Мартынович никогда ни с кем вместе не обедал. Даже в общей столовой брал себе обыкновенно галушек в миску и отходил в угол. Простившись с Карлом Осиповичем, вышел он на площадь, держа в руке полученные за труды два карбованца (халат, сапоги и прочая он прежде получил). Ходя по базару, он останавливался, смотрел вокруг себя и снова продолжал шагать по базару. Пройдя через базар, он машинально пошагал за Трубеж, осмотрелся вокруг, своротил на Золотоношскую дорогу и, передвигая медленно ноги, скрылся за Богдановой могилой.

Немало изумились на хуторе, когда в назначенный день не явился учитель, и не могли придумать, что бы это значило. Вечеру приехал на хутор Карл Осипович. К нему обратились с вопросом, но и он не мог дать удовлетворительного ответа. Он только удивился такой неаккуратности. Карл Осипович справился в семинарии, но там забыли, как и зовут [его]. Только школьник какой-то закричал: «Это, должно быть, „пожар в шкаповых сапогах“». Вся аудитория громко засмеялась. Карл Осипович с тем, разумеется, и вышел.

Наконец, 6 декабря, рано утром, явился он на хутор, прося извинения за отлучку.

— Где же вы были? — спросил его Никифор Федорович.

— Носил родителям деньги в Глымязов.

— Какие деньги?

— А что от вас получил. Мои родители вас благодарят за покровительство. — Никифор Федорович с умилением посмотрел на его неуклюжую фигуру. Он никогда не позволял себе

никаких над ним шуток, но после путешествия его в Глымязов смотрел на него с уважением. Занятия его пошли обыкновенным порядком. К праздникам дети довольно бегло читали гражданскую печать. И даже выучили наизусть виршу поздравительную (это уже были затей Прасковьи Тарасовны). Пришел, наконец, и Свят-вечер. Его пригласили вместе с ними святую вечерю есть. Тут уже он не мог отказаться. А перед тем, как садиться за стол, позвал его Никифор Федорович в свою комнату и возложил на рамена его новый демикотоновый сертук и вручил ему три карбованца. У Степы слезы показались на глазах. Но он вскоре оправился и сел за вечерю.

Ночь перед Р[ожеством] Х[ристовым] — это детский праздник у всех христианских народов, и только празднуется разными обрядами: у немцев, например, елкой, у великороссиян тоже. А у нас, после торжественного ужина, посылают детей с хлебом, рыбой и узваром к ближайшим родственникам, и дети, придя в хату, говорят: «Святый вечер! Прислалы батько и маты до вас, дядьку, и до вас, дядыно, святую вечерю». После чего с церемонией сажают их за стол, уставленный разными постными лакомствами, и потчуют их, как взрослых. Потом переменяют им хлеб, рыбу и узвар и церемонно провожают. Дети отправляются к другому дяде, и когда родня большая, то возвращаются домой перед заутреней, разумеется, с гостинцами и с завязанными вроде пуговиц в рубашку шагами.

Мне очень нравился этот прекрасный обычай. У нас была родня большая. Бывало, посадят нас в сани да и возят по гостям целехонькую ночь.

Я помню трогательный один Святый вечер в моей жизни. Мы осенью схоронили свою мать. А в Святый вечер понесли мы вечерю к дедушке и, сказавши: «Святый вечер! Прислалы до вас, диду, батько и...» — и все трое зарыдали. Нам нельзя было сказать «и маты».

После ужина просили Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна Степана Мартыновича отвезти с детьми вечерю к Карлу Осиповичу. Он, разумеется, не отказался, тем более, что он чувствовал на себе новый демикотоновый сертук. Возвратясь благополучно из города с детьми, пригласили его ехать вместе к заутрене. Прослушав заутреню у Покрова, к обедне он пошел в собор, где, разумеется, были и оставшиеся на праздники семинаристы. Чтобы торжественнее блеснуть своим сертуком, он выпросил у пономаря позволения снимать со свечей во время обедни.

И в Степе пошевельнулася страстишка!

Когда после праздников явился на хутор Степа, его не узнавали. Он переродился. Он начал говорить, чего прежде за ним и не подозревали. Спросили его, как он во время праздников веселился. «Весело», — говорит. «У кого бывал?» — «Родителей, — говорит, — посетил». Он опять спутешествовал в Глымязов, чтобы оставить там подаренные к празднику три карбованца, а вместе с тем и блеснуть своим новым сертуком.

Мало-помалу в нем начали (кроме букваря) [обнаруживаться?] и другие познания. Оказалось, что он четыре правила арифметики знает как свои пять пальцев, только бессознательно; русскую грамматику знает не хуже самого профессора, только бесприложительно, да для хорошего учителя это и лишнее.

Великое дело поощрение! Одни только гениальные натуры могут собственными силами пробить грубую кору холодного эгоизма людского и заставить обратить на себя изумленные глаза толпы. Для натуры обыкновенной поощрение — как дождь для пажити. Для натуры слабой, уснувшей, как Степа, одно простое внимание, слово ласковое освещает ее, как огонь угасшую лампаду.

Демикотоновый сертук, а более — ласковое обращение Никифора Федоровича разбудили слабые, спавшие силы души в неоконченной организации Степана Мартыновича. В нем оказались не только способности простого учителя, но он оказался еще и латинист немалый. Хотя тоже вроде автомата, но довольно внятно для Никифора Федоровича в пасике, под липою лежа, читал Тита Ливия.

По ходатайству Никифора Федоровича, преосвященный Гедеон выдал ему стихарь дьячка и место при церкви св. Бориса и Глеба, что против хутора. С тех пор Степан Мартынович зажил паном, до того дошел, что, кроме юхтовых сапогов, никаких не носил. В доме же Никифора Федоровича он сделался необходимым членом, так что без него в доме как будто чего недоставало. Правда, что в нем остроты и бойкости мало прибыло, но выражение лица совершенно изменилось. Как будто освежело, успокоилось и сделалось невыразимо добрым, так что, глядя на его лицо, не замечаешь дисгармонии линий, а любишься только выражением. Великое дело сделал ты, Никифор Федорович, своим сертуком и тремя карбованцами. Ты из идиота сделал существо, если не высокомыслящее, то глубоко чувствующее существо.

Зося и Ватя между тем учились и росли. А росли они, как сказочные богатыри, не по дням, а по часам. А учились они тоже по-богатырски. Но тут нужно принять в соображение учителя. Степан Мартынович показывал им не по своему разумению, а как напечатано, и сам себе говорил иногда: «Не я буду виноват, не я его печатал». На тринадцатом году это были взрослые мальчики, которым можно было дать по крайней мере лет пятнадцать. И так между собой похожи друг на друга, что только одна Прасковья Тарасовна могла различить их. И это сходство не ограничивалось одною наружностью, они походили друг на друга всем существом своим. Например, Ватя хотел учиться, и Зося тоже; Зося хотел гулять, и Ватя тоже. Все, кто посещал хутор сотника Сокиры, не говоря уже о Карле Осиповиче, все были в восторге от детей, а о Никифоре Федоровиче и Прасковье Тарасовне и говорить нечего.

Однажды вечером чайнно приехал на хутор Карл Осипович и застал хозяев чуть не в драке.

— Ну, та нехай, нехай уже буде по-твоему, — говорил скороговоркою Никифор Федорович. — Выбирай, какого сама знаешь.

— Нет, вы выбирайте. Я ничего не знаю, я им просто чужая.

В это время вошел в комнату Карл Осипович, и Прасковья Тарасовна обратилась к нему:

— Вот! Вот пускай хоть они нас разделят.

— Вы до сих пор не делились. Чем же вы вздумали теперь делиться, скажите? — проговорил Карл Осипович, ставя в угол свою палку и шляпу.

— А вот чем, Карл Осипович. Мы уже порешили, — говорила Прасковья Тарасовна, — чтобы одного нашего сына определить в военную службу, а другого по штатской. Так теперь не разделим их, кого куда.

— Обоих по штатской, но сначала нужно их чему-нибудь научить.

— И я так говорю, — проговорил спокойно Никифор Федорович.

— Господи! Вырастут, так научатся. Отец Лука и теперь не надивуется их познаниям. Да теперь же им скоро по четырнадцатому году пойдет, нужно думать что-нибудь.

— Я думаю сделать из них пока хороших семинаристов.

— А я офицеров.

— Быть по-твоему, делай себе офицера. А я пока семинариста. Теперь, значит, дело стало за тем, кому быть семинаристом, кому офицером. Пускай же решит судьба. Кинем жеребий. А вы будьте свидетелем, Карл Осипович. — Кинули жребий, и по жребию выпало Зосиму быть офицером, а Савватию семинаристом.

С того вечера Прасковья Тарасовна как будто бы начала предпочитать Зосю Вате. Разумеется, в мелочах. Однако ж эти мелочи заметил, наконец, и Степан Мартынович и говорил однажды в пасике, после чтения Тита Ливия, что это нехорошо, что одной матери дети, что должно быть все равно. Он говорил это про себя. А Никифор Федорович слышал про себя и горько улыбнулся.

Через год после этого происшествия решено было общим советом везти Зосю в Полтаву в кадетский корпус, а Ватю определить в гимназию в той же Полтаве. Сказано — и сделано.

В одно прекрасное утро, то есть часу около десятого, из хутора выехала туго нагруженная бричка, так туго, что четверка здоровых лошадей едва ее двигала. За бричку ехала простая телега одноконь, тоже нагруженная и покрытая воловьей шкурой по-чумацки. Это были запасные харчи. Вперед же на своей беде рысцою поехал в город Карл Осипович, чтобы прилично встретить дорогих гостей на пороге своего дома. Сзади же транспорта шагал, как бы конвоируя его, Степан Мартынович и говорил про себя: «Напрасно. Напрасно, ей-богу. Лучше бы в семинарию, и я мог бы быть еще полезен. А для их пользы я готов снова поступить в семинарию». Так рассуждая, Степан Мартынович наткнулся на телегу с харчами и тогда только ясно увидел, что не одна телега, но и бричка тоже остановилась перед домом Карла Осиповича. У старого холостяка еще раз закусили на дорогу, чем Бог послал у старца в кельи. А для аппетита Никифор Федорович должен был выпить рюмку водки с гофманскими каплями. После закуски простились и начали грузиться в бричку. Причем Карл Осипович не забыл Зосе и Вате сунуть в карман по коробочке мятных лепешек. Транспорт тронулся и скрылся за углом. Карл Осипович и Степан Мартынович тоже расстались. Карл Осипович остался дома, потому что нужно было рецепты отпустить. А Степан Мартынович пошел на хутор, потому что он теперь на хуторе полновластный владыка. Но владычество свое, кроме ключей от коморы, он готов передать Марине. И, как во дни оны феодальный дукат какой-нибудь, готов был пешком путешествовать — не в Палестину, разумеется, а только в Полтаву. Того ради, чтобы, если нельзя будет лично присутствовать при приемном экзамене, то хоть стороною нельзя ли будет делать какое-нибудь влияние на это дело, так близко касающееся его благородного сердца. Придя на хутор, он сказал Марине: «Благодушная Марино! Я пойду в Андруши: преосвященный приехал и присылал за мною. Есть дело. Так ты не отлучайся из дому. И если я там заночую, так это ничего. Ты не тревожься. Все будет благополучно». И не давши время сделать какое-либо возражение благодушной Марине, он сказал: «Прощайте» — и вышел за ворота. Проходя через город, он вспомнил, что с ним не было ни копейки денег. Для этого он снова воротился на хутор, взял карбованец денег, повторил наставления Марине, с прибавлением, что если он и другую ночь заночует в Андрушах, так чтобы она не беспокоилась. Сказал и ушел.

Если Никифор Федорович воображает, что его верный Степа лежит теперь под липою в пасике и читает вслух Тита Ливия, то он сильно ошибается. Степан Мартынович, забыв все на свете, кроме вступительного экзамена своих питомцев, удвоенным шагом мерял Пирятинскую дорогу. В Яготине он подночевал и, вставши на заре, к поздней обедне был уже в Пирятине. Пообедавши куском хлеба и таранью и отдохнувши немного под церковною оградой, он бодро пустился в путь и слушал всенощное бдение в Лубенском монастыре, перед ракою святого

Афанасия, патриарха александрийского. Переночевал в странноприимной и тут выслушал от какого-то переходящего богомольца легенду о успении святого Афанасия в сидячем положении. И о том, что дочери лютого Еремии Вишневецкого-Корибута снился сон, что она была в Раю и ее оттуда вывели ангелы, говоря, что если она своим коштом выстроит храм Божий в добрах своих близ города Лубен, то поселится уже на веки вечные в Раю. Она и соорудила храм сей. Тут только рассказчик заметил, что слушатель его давно играет на валторне. И рассказчик не медлил слушателю вторить, взявши октавою ниже, из чего и вышел преизрядный дуэт. Рано поутру мой пилигрим вышел за Сулу и пустился через знаменитое урочище N. прямо в Богачку. Только воды напился около корчмы, что на Ромодановском шляху. Отдохнувши в Богачке у странноприимной старушки Марии Ивановны Ячной, он ввечеру уже отдыхал под горою у переправы через Псел, что в местечке Белоцерковке. Тут еще на пароме какой-то остряк паромщик спросил его: «А что, я думаю, в Ерусалим правуете, странниче? Зайшли б до нашої пани Базилевскои та попросили б на ладан. Вона богобоязненна пани, може, ще й нагодує вас хоч борщем [з] рыбою из Псла». Степан Мартынович как бы не слышал сарказма перевозчика. И, отдохнувши во время переправы, он, помолясь Богу, пустился в путь и в полночь очутился близ Решетилówki. Но чтоб не приняли его за вора, рассудил отдохнуть под вербою. Купивши бубликов на базаре за три шагы и искупавшись в речке N., пустился в путь, пожеывая бублички, и не отдыхал уже до самой Полтавы.

А Никифор Федорович, путешествуя, что называется, по-хозяйски, не в ущерб себе и коням, на другой день, оставивши Яготин, или, лучше, Гришковскую корчму, не доезжая Ягодина, оставил Пирятинскую дорогу влеве и поехал Гетманским шляхом через Ковалевку, в Свичкино Городище навестить при таком удобном случае друга своего и сына своего благодетеля полковника Свички — Льва Николаевича Свичку, или, как он называл себя, огарок, потому что свичка згорела на киевских контрактах.

Об этих знаменитых контрактах я слышал от самого Льва Николаевича вот что: что покойному отцу его (думать надо, с великого перепою) пришла мудрая мысль выкинуть такую штуку, какой не выкидывал и знаменитый пьяница К. Радзивилл. Вот он, начинивши *вализы* ассигнациями, поехал в Киев и перед съездом на контракты скупил в Киеве все шампанское вино. Так что, когда начались балы во время контрактов, хватя! ни одной бутылки шампанского в погребах. «Где девалось?» — спрашивают. «У полковника Свички», — говорят. К Свичке — а он не продает. «Пьйте, — говорит, — так, хоч купайтесь в йому, а продажи нема». Нашлись люди добрые и так выпили. После этой штуки Свичкино Городище и прочие добра вокруг Пирятина начали таять, аки воск от лица огня. Поэтому-то наследник его справедливо называл себя огарком.

Прогостивши денька два в Городище, они на третий день двинулись в путь и к вечеру благополучно прибыли в Лубны. Так как в Лубнах знакомых близких не было, то они, отслужив в монастыре молебен угоднику Афанасию, отправились далее. Хотелось было Никифору Федоровичу проехать на Миргород, чтобы поклониться праху славного козака-вельможи Трощинского, но Прасковья Тарасовна воспротивилась. А он не охотник был переспаривать. Так они, уже не заезжая никуда, через неделю прибыли благополучно в Полтаву.

А тем временем наш дьячок-педагог обделал все критические дела в пользу своих питомцев, сам того не подозревая.

В самый день прибытия своего в Полтаву он отправился в гимназию (к кадетскому корпусу он боялся и близко подойти, говоря: «Все москали, може, ще й застрелять») и узнал от швейцара, где жительствоет их главный начальник. Швейцар и показал ему маленький домик на горе против собора. «Там, — говорит, — живет наш попечитель». Степан Мартынович, сказав: «Благодарю за наставление», — отправился к показанному домику. У ворот встретил его

высокий худощавый старичок в белом полотняном халате и в соломенной простой крестьянской шляпе и спросил его:

— Кого вы ищите?

— Я ищю попечителя.

— Нащо вам його?

— Я хочу його просить, що як буде Савватий Сокира держати экзамен в гимназии, то щоб попечитель не оставил его.

— А Савватий Сокира хйба ридня вам? — спросил старичок улыбаясь.

— Не ридня, а только мой ученик. Я для того и в Полтаву пришел из Переяслава, чтобы помочь ему сдать экзамен.

Такая заботливость о своем ученике понравилась автору «Перелицованной Энеиды». Ибо это был не кто другой, как Иван Петрович Котляревский. Любя все благородное, в каком бы образе оно не являлось, автору знаменитой пародии сильно понравился мой добрый оригинал. Он попросил к себе в хату Степана Мартыновича и, чтоб не показать ему, что он самый попечитель и есть, то привел его в кухню, посадил на лаву, а на другой, в конце стола, сам сел и молча любовался профилем Степана Мартыновича. А Степан Мартынович читал между тем церковными буквами вырезанную на сволоке надпись: «Дом сей сооружен рабом Божиим Н. року Божого 1710». Иван Петрович велел своей Леде (старой и единственной прислужнице) подавать обед. Здесь же, в кухне. Обед был подан. Он попросил Степана Мартыновича разделить его убогую трапезу, на что бесцеремонно он и согласился, тем более, что после решетиловских бубликов со вчерашнего дня он ничего не ел. После борщу с сушеными карасями Степан Мартынович сказал: «Хороший борщик».

— Насып, Гапка, ще борщу! — сказал Иван Петрович.

Гапка исполнила. После борщу и продолжительной тишины Степан Мартынович проговорил:

— Я думаю еще просить попечителя о другом моем ученике. Тоже Сокире, только Зосиме.

— Просите, и дастся вам, — сказал Иван Петрович.

— Зосим Сокира будет держати экзамен в корпуси кадетскому. Так чи не поможет он ему, бедному?

— Я хорошо знаю, что поможет.

— Так попросите его, будьте ласкави.

— Попрошу, попрошу. Се дило таке, що зробить можна, а вин хоч не дуже мудрый, та дуже нелукавий.

Степан Мартынович в это время вывязал из клетчатого платочка и выбрал из мелочи гривенник, сунул в руку Ивану Петровичу, говоря шепотом:

— Здасться на бублички.

— Спасыби вам, не турбуйтеся.

Степан Мартынович, видя, что гривенника его не хотят принять, завязал его снова в платочек, повторил еще два раза свою просьбу и, получа в десятый раз уверение в исполнении ее, он взял свой посох и брыль, простился с Иваном Петровичем и с Гапкою, вышел из хаты. Иван Петрович, провожая его за ворота, сказал:

— Чи не доведеться ще раз буты в наших местах. То не цурайтесь нас!

— Добре. Спасыби вам, — сказал Степан Мартынович и пошел через площадь к дому Лукьяновича, чтобы оттуда лучше посмотреть на монастырь та, помолясь Богу, и в путь. Долго смотрел он на монастырь и его чудные окрестности. Потом посмотрел на солнце и, махнув рукою, пошел по тропинке в яр с намерением побывать в святой обители. Но как тропинок много было, ведущих к монастырю, то он, спустя[сь] с горы, призадумался, которую бы из них выбрать самую близкую, и выбрал, разумеется, самую дальнюю, но широкую. Своротя вправо на избранный путь, он вскоре очутился на убитой колесом неширокой дороге, вьющейся по зеленому лугу между старыми вербами и ведущей тоже к монастырю. Пройдя шагов несколько, он увидел сквозь темные ветви осокара тихий блестящий залив Ворсклы. Дорожка, обогнувши залив, вилась под гору и терялась в зелени. Вокруг него было так тихо, так тихо, что герой мой начинал потрухивать. И вдруг среди мертвой тишины раздался звучный живой голос. И звуки его, полные, мягкие, как бы расстилались по широкому заливу. Степан Мартынович остановился в изумлении. А невидимый человек [продолжал] петь. Степан Мартынович прошел еще несколько шагов, и уже можно было расслушать слова волшебной песни:

Та яром, яром
За товаром,
Манивцямы
За вивцямы.

Вслушиваясь в песню, он незаметно обогнул залив и, обойдя группу старых верб, очутился перед белою хаткою, полускрытой вербами. На одной из верб была прибита дощечка, а на дощечке намалевано белой краской *пляшка* и *чарка*. Под тою же вербою лежал в тени человек и продолжал петь:

Та до порога головоамы,
Вставай рано за воламы.

А около певца стояла осьмиугольная фляга, похожая на русский штоф, с водкою на донышке, и в траве валялися зеленые огурцы. Певец кончил песню и приподымаясь проговорил:

— Теперь, Овраме, выпый по трудах.

И, взявши флягу в руку, он посмотрел на свет, много ли еще в ней осталось духа света и духа разума.

— Эге-ге, лыха годыно! Що ж мы будемо робыть, Овраме? Неповна, анафема!

И при этом вопросе он кисло посмотрел на хатку, и лицо его мгновенно изменилось. Он бросил штоф и вскрикнул: «Пожар в сапогах!»

Степан Мартынович вздрогнул при этом восклицании и встал с призбы, где он расположился было отдохнуть.

— «Пожар в сапогах! Пожар в сапогах!» — повторял певец, обнимая изумленного Степана

Мартыновича. Потом отошел от него шага на три, посмотрел на него и сказал решительно:

— Никто же иной, как он. Он, «пожар в сапогах». — И, пожимая его руки, спросил:

— Куда ж тебе оце несе? Чи не до владыки часом? Якщо так, то я тобі скажу, що ты без мене ничего не зробиш! А купиш кварту горилки, гору переверну, не тилько владыку.

И действительно, говоривший был похож на древнего Горыню: молодой, огромного роста, а на широких плечах вместо головы сидел черный еж; а из пазухи выглядывал тоже черный полугодовалый поросенок.

— Так? Кажи!

— Я не до владыки, я так соби, — отвечал смущенный Степан Мартынович.

— Дурень. Дурень. За кварту смердячої горилки не хоче рукоположиться во диякона. Ей-богу, рукоположу. Вот и честная виночерпия скаже, что рукоположу. Я великою сылою орудую у владыки.

— Так как же я без харчи до Переяслава дойду?

— Дойду, дойду, дурню... Та я тебе в одын день по пошти домчу.

Степан Мартынович начал развязывать платок. А певчий (это, действительно, был архиерейский певчий) радостно воскликнул: «Анафемо! Шинкарко, задрипо, горилки! Кварту. Дви. Тры. Видро!! Проклята утробо!»

Степан Мартынович смиренно подавая гривенник, который возвратил ему Иван Петрович, сказал, что деньги все тут.

— Тсс! Я так тилько, щоб полякать ии, анафему.

Водка явилась под вербою, и приятели расположились около малеваной пляшки. Певчий выпил стакан и налил моему герою. Тот начал было отказываться, но богатырь-бас так на него посмотрел, что он протянул дрожащую руку к стакану. А певчий проговорил:

— А еще и дяк!

И он принял пустой стакан от Степана Мартыновича, налил снова и посекундачил, т. е. повторил, обтер рукавом толстые свои губы, проговорил усиленным [басом] протяжно:

— Благословы, владыко...

Степан Мартынович изумился огромности его чистого, прекрасного голоса, а он, заметя это, взял еще ниже:

— Миром Господу помолимся...

— Тепер можна для гласу. — И он выпил третий стакан и, сморщась, молча показал пальцем на флягу. И Степан Мартынович не без изумления заметил, что фляга была почти пуста. Отрицательно помавал головою.

— Робы, як сам знаеш, а мы тым часом... — И, крякнувши, он запел:

Ой йшов чумак з Дону

И когда запел:

Ой доле моя, доле,
Чом ты не такая,
Як инша, чужая? —

из маленьких очей Степана Мартыновича покатались крупные слезы. Певец, заметя это и чтобы утешить растроганного слушателя, запел, прищелкивая пальцем:

У недилю рано-вранци
Ишлы наши новобранця,
А шинкарка на их морг:
Иду, братыки, на торг.

Кончив куплет, он выпил остальную водку, взглянул на собеседника и выразительно показал на шинк. Безмолвно взял флягу Степан Мартынович и пошел еще за квартою, а входя в шинок, проговорил: «Пошлет же Господь такой ангельский глас недостойному рабу своему». И пока шинкарка делала свое дело, он спросил ее: « Кто сей, с которым возлежу? »

— Се бас из монастыря, — отвечала она.

— Божеский бас, — говорил про себя Степан Мартынович.

— Якбы не бас, то б свиней пас, — заметила шинкарка. — Пьяныця непросыпуща.

— Оно так, но, жено, басы такии и повинни быть.

— А вы тоже бас? — спросила шинкарка.

— Нет, я не владею ни единым гласом.

— И добре робыте, шо не владеете.

Через полчаса явился опять в шинок с пустой флягой Степан Мартынович, и шинкарка, наполняя ее, про себя сказала: «О[т] пьють, так пьють!» Возвратясь под вербу, он поставил флягу около баса и сам лег на траве вверх брюхом, подражая боговдохновенному басу. Бас же, не говоря ни слова, налил стакан водки и вылил ее в свою разверстую пасть. Пощупал траву около половинки огурца и поднес пустые пальцы ко рту. Пробормотал: «Да воскреснет Бог!» — и, обратясь к Степану Мартыновичу, сказал почти повелительно:

— Дерзай! — И Степан Мартынович дерзнул. Бас и себе дерзнул и уже не искал закуски, а только щелкнул языком и проговорил:

— Эх, якбы теперь отець Мефодий. От бас, так бас. А все-таки мене не перепье!

И он выпил еще стакан. Фляга опять была пуста. Он посмотрел на Степана Мартыновича и показал на шинк. Но Степан Мартынович побожился, что у него ни полпенязя в кишени. Тогда бас бросился на него и, схватя его за руку, вскрикнул: «Брешеш, душегубец, бродяга! Ты паству свою покын[ув] без спросу владыки и блукаєш тепер по дебрях та добрых людей грабыш. Давай кварту, а то тут тоби и аминь!»

— Поставлю, поставлю, отпусти только душу на покаяние, — говорил запинаясь Степан

Мартынович. Бас, выпуская его из рук, лаконически сказал: «Иды и несы». Степан Мартынович, схватя флягу, бросился в шинок и почти с плачем обратился к шинкарке:

— Благолепная и благодушная жено! (Он сильно рассчитывал на комплимент и на текст тоже.) Изми мя от уст львовых и избави мя от руки грешничи. Поборгуй хотя малую полкварты горилки.

— А дзусь вам, пьяныци! — сказала лаконически шинкарка и затворила двери.

Вот тебе и поборгувала! Выходит, что комплименты не одинаково действуют на прекрасный пол. Ошеломленный такою выходкою благолепной жены, он долго не мог опомниться. И, придя в себя, он долго еще стоял и думал о том, как ему теперь спастись от руки грешничи. Самое лучшее, что он придумал, упасть к ногам баса и возложить упование на его милосердие. С этой мыслью он подошел к вербе, и — о радость неизреченная! — бас раскинулся во всю свою высоту и широту под вербою и храпел так, что листья сыпались с дерева, как от посвисту славного могучего богатыря Соловья-разбойника.

Видя такой благой конец сей драматургии, герой мой не медля яхся бегу, глаголя: «Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие». Пройдя недалеко под гору, он свернул с дорожки и прилег отдохнуть под густолиственной липою и вскоре захрапел не хуже всякого баса.

Благовест к вечерне разбудил моего героя. Проснувшись, он долго не мог понять, где он. И, начиная перебирать происшествия целого дня, начиная со старичка в белом халате и брыле, он постепенно дошел до трагической сцены под вербою и благополучного конца ее. Тогда, осенив себя знаменем крестным, он встал, вышел на дорожку, и дорожка привела его к самым стенам монастыря. Вечерня уже началась, уже читал чтец посередине церкви первую кафизму, а клир пел: «Работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Немалое же его было изумление, когда он в числе клира, именно на правом клиросе, увидел своего богатыря-баса. Как ни в чем не бывало, ревел себе, спрятавши небритый подбородок в нетуго повязанный галстук.

При выходе из церкви бас заметил своего protégé и дал знак рукою, чтобы он последовал за ним. «Ну что, если, Боже чего сохрани, опять туда? Погиб я», — думал он и следовал за басом, как агнец на заклание. Однако же это случилось вопреки опасениям его. Они вошли в огромную трапезу, где уже братия садилась трапезовать, а певчие садились за особенный стол. Бас молча указал место и своему protégé. В трапезе было почти темно. И когда зажгли свечки, то, увидя среди себя моего героя, весь хор воскликнул: «Пожар в сапогах!» Они все его знали еще по семинарии. После трапезы повели его в свою общую келию и, узнавши, что он завтра намерен принять обратный путь в Переяслав, все единогласно предложили ему место в своем фургоне, объяснив ему, что завтра после литургии владыка отъезжает в Переяслав, т. е. в Андруши, и что они, его певчие, туда же едут по почте. Тут раздумывать было не к чему, тем более, что в кармане у моего бедного героя гулб.

На другой день, часу в четвертом пополудни, фургон, начиненный певчими, несся, вздымая пыль, по Переяславской дороге и, подъехав к корчме близ хутора Абазы, остановился. Дисканты просили пить, а басы просили выпить. Герою моему тоже хотелось было вылезть из фургона вместе с басами. И о ужас! Из корчмы в окно выглядывала, кто бы вы думали? Сама Прасковья Тарасовна. Он повалился на дно фургона и молил дискантов накрыть его собою. Мальчуганы все разом повалились на него и так накрыли, что он чуть было не задохся. Слава Богу, что басы недолго в корчме проклажались. Басы, учиня порядок и тишину в фургоне, велели почтарю рушать, а сами громогласно запели: «О всепетая маты, а все пивныки в хати».

К ним присоединили и свои ангельские голоса дисканты, и вышла песня хоть куда.

Так весело и быстро продолжали они путь свой без всяких трагических приключений, кроме разве, что в яготинском трактире басы общими силами поколотили первого баса, покровителя Степана Мартыновича, за буйные поступки, а потузивши, с вязали ему руки и ноги туго, положили его в фургон и в так[ом] плачевном положении привезли его в Переяслав.

По прибытии в Переяслав Степан Мартынович благодарил хор за одолжение и, простивши[сь] с ним, зашел к Карлу Осиповичу, попросил у него полкарбованца для необходимого дела... И, получа желаемое, зашел он в русскую лавку, купил зеленую хустку с красными бортами и пошел на хутор, размышляя о своем странствовании, исполненном таких, можно сказать, драматических и поучительных приключений.

Подойдя к самым воротам хутора, он не без изумления услышал женский голос, поющий:

За тры шагы пивныка продала,
За копийку дудныка найняла.
Заграй мени, дудныку, на дуду,
Нехай свого лышенька забуду.

«Это Марина. Это она», — подумал Степан Мартынович и вошел на двор. Войдя тихонько в кухню, он остолбенел от соблазна и ужаса. Марина, пьяная Марина, обнимала и целовала почтенного седоусого пасичныка Корния. Он не мог выговорить ни слова, только ахнул. Марина, отскочивши от пасичныка, схватила его за полы и принялась плясать, припевая:

Ой мий чоловік
На Волощину втик,
А я цип продала
Та музики найняла.

— Марино! Марино! Богомерзкая блуднице растленная, что ты робыш? Схаменься! — говорил Степан Мартынович. Но Марина не схаменулась и продолжала:

Ой заграйте мени,
Музыканты мои,
А я вам того дам,
Що вы зроду не бачили — и-гу!

И запела снова:

Упылася я,
Не за ваши я;
В мене курка неслася,
Я за яйця впылася.

— Цур тобі, отыди, сатано! — вскрикнул он и, вырвавши полы из рук веселой Марины, побежал в пасику. Найдя все в хорошем порядке, он лег под липою вздохнуть от треволнений.

— А может быть, они во время моего странствия уже и законным браком сочетались, а я поносил ее блудницею непотребною. — И в раскаянии своем он уснул и видел во сне бракосочетание Марины с Корнием-пасичныком и что он был у сего последнего старшим боярином.

Солнце уже зашло, когда он проснулся. И придя на хутор, он нашел ворота затворенными, а

кухню растворенную и на полу спящую Марину, а пасичник Корней под лавою тоже храпел. Он посмотрел на них и сострадательно покачал головою. И, выходя в сени, сказал: «А хустку все-таки треба ий отдать. Она женщина богобоязненная». На другой день отдал он ей хустку и просил, чтобы она никому ни слова не проговорила о его отсутствии. А она просила его, чтобы он тоже молчал о вчерашнем ее поведении. И они поклялись друг другу хранить тайну.

По истечении пяти с половиною седмиц возвратились после долгого отсутствия благополучно на свой хутор и Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна. Радостно отворял им ворота Степан Мартынович, высаживал из брички и вводил в покои. Когда суматоха немного утихомирилась, а к тому времени подъехал на своей беде и Карл Осипович, то уже перед вечером собрались все четверо на ганку, и началось повествование о столь продолжительном странствовании. Сначала взяла верх Прасковья Тарасовна, а потом уже Никифор Федорович. Прасковья Тарасовна начала так:

— Попрощавшись с вами, Карл Осипович, в среду, а в четверг рано мы были уже у Яготыни. Пока Никифор Федорович закусывали, я с дитьмы вышла с брички та и хожу себе по базару. Только смотрю, на базаре стоит какой-то круглый будынок, и столбы кругом, кругом. Меня диты и спрашивают: «Маменька, что это такое?» Я и говорю: «Ей-богу, деточки, не знаю, надо будет спросить кого-нибудь». Смотрю, на наше счастье, идет какая-то молодыця. Я и кричу ей: «Молодыце! А йды, — говорю, — сюда». Она подошла. «Скажи, голубко, что это у вас там на базаре стоит?» Вона и говорыть: «Церков». — «Церков, — думаю соби, — чи не дурыть вона нас?» Только смотрю, и крест наверху, на круглой крыше. «Господи, — думаю соби, — уж я ли церков у Киеве не видала, а такой, хоть побожиться, так, я думаю, и в Ерусалиме нет».

Из Яготина заехали мы в Городище. Прекрасный человек Лев Николаевич! А какие у него деточки, просто ангелы Божии, особенно Наташа. Особенно когда запоет — просто прелесть, да еще и пальчиками прищелкнет. И так полюбила моего Зосю, что заплакала, когда прощались. Были в монастыре в Лубнах, заказывали молебен святому Афанасию. Точно живой сидит за стеклом, мой голубчик. Вот церковь, так церковь. Хоть с нашим Благовещением рядом поставить.

— Только не ставь рядом нашего нового иконостаса, — перебил ее Никифор Федорович.

— Ну, та я уж там этого не знаю. В Хороле тоже ночевали. Только я, признаться, его и не видала, какой он там, той Хорол. Проспала себе всю станцию, проснулась уже в Вишняках за Хоролом. Там-то мы и ночевали, а не в самом Хороле. Село огромное, только такое убогое, что страх посмотреть. Помещик, говорят, пьяныця непросыпуща, живет десь, Бог его знает, в Москве, говорили, или в Петербурге, а управитель что хочет, то и делает. Как-бо его зовуть, того помещика, кат его возьми? Никифор Федорович, вы чи не припомните?

— N.. — сказал Никифор Федорович, — Оболонский.

— Да, да N., так и есть N. А церковь какая прекрасная вымурована за селом. Как раз против господского дому. Говорят, какая-то генеральша Пламенчиха вымуровала над гробом своего мужа. Праведная душа!

— Еще в Белоцерковке тоже ночувалы и переправлялись на пароме через реку. Я страх боялася: паром маленький, а бричка наша — слава Богу. Белоцерковская пани, говорят, страшно богата, а ест только одну тарань, и то по скоромным дням. А с железного сундука с червонцами никогда и не встает, так и спит на нем. Говорят, когда загорелся у нее магазин с разными домашними добрами, — говорят, полотно одного, десятки, возов на сто было, и можно было б хоть половину спасти. Что ж вы думаете? Не велела. «Раскрадут, — говорит, — лучше

пускай сгорит». Тьфу, какая скверная!

— В Решетилровке церков с десять, я думаю, будет, и живут все козаки. Перед самую Полтавою обедали в корчме. И только что лег отдохнуть Никифор Федорович, приезжают архиерейские певчие.

Степан Мартынович завертелся на стуле.

— Входят в корчму, и один как заревел: «Шинкарко, горилки! » Я так и умерла со страху. Отроду не слыхала такого страшного голоса. А собою здоровый, высокий, а на голове волосы, как щетина, так и торчат.

— А про самую Полтаву я и рассказать не умею. Рассказывайте уже вы, Никифор Федорович.

Тоже явление необыкновенное: жена отказывается говорить в пользу мужа.

— Хорошо, я уже все до конца доскажу. А вы б тым часом похлопотали коло вареников. Карл Осипович и Степан Мартынович, я думаю, что не откажутся повечерять с нами?

Оба слушателя в знак согласия кивнули головами. А Прасковья Тарасовна встала и ушла в комнаты.

— Да, — начал Никифор Федорович, — благословение Господне не оставило-таки наших деточек. Я, правду сказать, никогда в Полтаве не бывал и не имею там никого знакомых. Только по слуху знал, что попечителем гимназии наш знаменитый поэт Котляревский. Я, узнавши его квартиру, отправился прямо к нему. Представьте себе, что он живет в домике сто раз хуже нашего, просто хата. А прислуги только и есть, что одна наймичка Гапка да наймит Кирик. Сам он меня встретил, ввел в хату, посадил с собою рядом и начал меня спрашивать, какое мое до него есть дело. Я ему сказал. И прошу его помощи. Только он усмехнулся и спрашивает: «Как ваша фамилия?» Я сказал: «Сокира».

— Сокира, Сокира, — повторил он. — У вас двое детей, Зосим и Савватий? — Степан Мартынович сидел как на иголках. — Котляревский продолжал: «Одного вы хотите определить в гимназию, а другого в кадетский корпус?» — «Так точно», — говорю я. Но спросить его не посмел, откуда он все это знает. «Вы, кажется, удивляетесь, — говорит он, — что я знаю, как ваших детей зовут». — «Немало, — говорю, — удивляюсь». — «Слушайте, — говорит, — я расскажу вам историю». Степан Мартынович задрожал от страха.

— «Однажды я гуляю себе около своих ворот», — начал было он рассказывать. Только в это время вошел высокий лакей и говорит, что княгиня Р[епнина] просит к себе на чай. Он сказал, что будет. А я, взявши шапку, хотел проститься и уйти. А он и говорит мне: «Не гневайтесь на меня, зайдите завтра поутру, да приведите и Козаков своих». Степан Мартынович вздохнул свободнее. «Да что же [я] тороплюсь? Время терпит, — говорит, — а история в трех словах. Да, так гуляю около ворот, смотрю, подходит ко мне...» При этом слове Степан Мартынович повалился в ноги Никифору Федоровичу и возопил:

— Пощадите меня, раба недостойного, я преступил вашу святую заповедь. Я оставил ваш дом и бежал во след ваш в самую Полтаву.

Никифор Федорович понял, в чем дело, и, целуя Степана Мартыновича, поднял на ноги и усадил на стул. И, когда успокоились, он рассказал всю историю, как ему рассказывал сам попечитель.

— Господи, прости меня, окаянного, а я, недостойный отрешить ремень сапога его, я... я дерзнул мало того, что сесть с ним рядом, но даже и трапезу разделять. И, паче еще, гривенник давал ему за протекцию моих любезных учеников. И, просты, просты мене, Господы! С таким великим мужем, с попечителем, и рядом сидеть, как с своим братом! Ох, аж страшно! Завтра же, завтра иду в Полтаву и упаду ему в ноги. Скажу...

— Не ходите завтра, — сказал Никифор Федорович, — а на то лето поедem вместе.

— Нет, не дождусь, умру до того лета, умру без покаяния. О, что я наделал!

— А вы наделали то, что через вас теперь дети наши приняты на казенный счет: один в гимназию, другой в корпус. Вы так полюбились Ивану Петровичу, что он мало того, что через вас определил наших детей, а еще посылает вам в подарок свою «Энеиду» с собственноручным надписанием. И мне тоже, дай Бог ему здоровье, тоже подарил свою «Энеиду» и тоже с собственноручной надписью. Пойдемте лучше в хату, тут уже темно, а в хате я вам и книгу вручу, и свою покажу.

Не описую вам восторга Степана Мартыновича, когда он собственными глазами увидел книгу и прочитал: «Уважения достойному С. М. Левицкому. На память И. Котляревский». «И фамилию мою знает, о муж великий!» И рыдая он целовал надпись.

После ужина Карл Осипович уехал в город, и на хуторе все уснуло, кроме Степана Мартыновича. Он, взявши свою книгу, на човни переправился через Альту, пришел в свою нетопленную школу и, засветя каганец, принялся читать «Энеиду». И прочитал ее до конца. Солнце уже высоко было, когда взошел к нему в школу Никифор Федорович, а каганец горел, и Степан Мартынович сидел за книгою.

— Добрый день, друже мой! — сказал он, входя в школу. Степан Мартынович поднял голову и тогда только увидел, что каганец напрасно горит.

— Добрый день! Добрый день, Никифор Федорович! А я все прочитывал книгу. Неоцененная книга! Когда-нибудь в пасике я вам ее вслух прочту. Чудная книга!

— Именно чудная! Вот в чем моя речь. Что мы теперь, друже мой, будем делать? Ведь мы теперь с вами одинокие! Учить вам теперь некого, а мне некого экзаменовать. Что мы будем теперь делать, а?

— Я и сам не знаю, — сказал с расстановкою Степан Мартынович.

— Я думаю вот что. Возьмите у меня набор десять или два десятка пней пчел и заведите себе пасику, хоть тут же, около своей школы. Да и пасишникуйте, а я тоже буду пасишниковать. А когда Господь многомилостивый благословит ваше начинание, тогда возвратите вы мне мои пчелы. А тым часом мы будем в гости ходить один к другому. Согласны?

— Паче всякого согласия.

— А коли так, то примите от меня и моей жены сей недостойный подарок за ваше бескорыстие и истинно христианскую любовь к нашим бедным детям.

И он вручил ему кусок гранатового сукна, примолвя: «Я за кравцем Беркою послал уже в город. Сшуйте себе к Покрову добрый сертук и прочее».

Степан Мартынович держал сукно в руках, смотрел на него и не мог выговорить слова.

— На Покрова как раз будет шесть лет, как вы в первый раз явились у меня в доме.

Со слезами благодарности принял дорогой подарок Степан Мартынович, и они вышли из школы. На хуторе встретил их Берко-кравец с треугольным аршином в руках. Снял он мерку с Степана Мартыновича, причем ему не раз приходилось становиться на цыпочки, потому что он был непомерно невелик ростом, а Степан Мартынович непомерно велик. Снявши мерку, он тут же принялся кроить. На дом кравцам небезопасно давать целиком такой дорогой материал: как раз будешь без полы или без рукава. Прасковья Тарасовна тоже вышла посмотреть, как будут сертук кроить, и тоже вынесла подарок недешевый, якобы от детей из Полтавы. И, подавая его Степану Мартыновичу, говорила:

— Вот этот черный шелковый платок для шии Зося прислал вам. А это Ватя: тоже шелковая дорогая материя на жилет вам к Покрове.

Принимая столь неоценимые подарки, Степан Мартынович говорил, рыдая от полноты сердечной: «Что ти принесу или что ти воздам?» Надо заметить, что Степан Мартынович говорил на трех диалектах. Чисто по-русски. И, когда обстоятельства требовали, а иногда и без всяких обстоятельств, чисто по-малороссийски. В положениях же патетических — церковным языком и почти всегда текстами из Священного Писания.

Пока он проливал слезы благодарности, Прасковья Тарасовна вынесла из комнаты два куска холста, говоря: «А это вам будет на рубашки. Это вже от меня принять не откажитесь. Сошьет же вам хоть и наша Марина, а мы ей дамо годовалую свинку за работу».

Степан Мартынович был выше всякого счастья. Закрыв лицо руками, он безмолвно вышел на крыльцо, сел на ступеньку и рыдал, как малое дитя.

Вскоре вышел и Никифор Федорович и, взявши его за руку, сказал:

— Мы вам думали сделать доброе, а вы плачете. Не обижайте же нас, сирых стариков, Степан Мартынович.

— Я в радости постелю мою слезами моими омочу.

— Ну, так пойдете в пасику. Ляжете там хоть на моей постели та и мочить ее сколько угодно.

— Степан Мартынович встал и молча последовал за Никифором Федоровичем.

Придя в пасику, Никифор Федорович вынул из кармана мелок и отметил буквою Л десять ульев, говоря: «Боже благослови ваше начинание». И прибавил, показывая на ульи: «Примите в свою собственность, Степан Мартынович».

— Дайте мне хоть дух перевести. Вы меня умертвите вашими благодеяниями.

Они сели под липою. И при сем случае Никифор Федорович прочитал изрядную лекцию о пчеловодстве. А в заключение сказал:

— Трудолюбивейшая, Богу и человеку угоднейшая из всех земнородных тварей — это пчела. А заниматься ею и полезно, и Богу не противно. Этот смиренный труд ограждает вас от всякого нечистого соприкосновения с корыстными людьми. А между тем ограждает вас и от гнетущей и уничтожающей человека нищеты. По моим долгим опытам и наблюдениям я дознал, что пчела требует не только искусного человека, но еще кроткого и праведного мужа. Вы же в себе вмещаете все сии добродетели. И с упованием на Бога и святых его угодников Зосима и Савватия будет благословенно и приумножено ваше начинание!

Степан Мартынович в благоговейном молчании слушал. Никифор Федорович продолжал:

— Нынешнее лето на исходе, уже, слава Богу, сентябрь на дворе. Следовательно, вам теперь нечего и думать пасику заводить. А вы уже начните с будущей весны. А теперь только выберите для пасики место и обсадите его какими-нибудь деревьями, хоть липами, например. А я, даст Бог, положивши пчелы зимовать в погреб, съезжу недели на две, на три в Батурина. Там, около Батурина где-то, живет наш великий пасичник Прокопович. Послушаю его разумных наставлений, потому что я теперь думаю исключительно заняться пасикою.

На другой или на третий день после этой разумной беседы, поутру рано, ходил около своей школы Степан Мартынович в глубокой задумчивости с «Энеидою» в руках. Он с нею никогда не разлучался. После долгой думы он отправился на хутор. И, увидя Никифора Федоровича, также в созерцании гуляющего и тоже с «Энеидою» в руках, он, после пожелания доброго дня, сказал:

— Знаете, что я придумал?

— Не знаю, что вы придумали.

— Я придумал, по примеру прочих дьячков, завести школу, т. е. набрать детей и учить их грамоте.

— Благословляю ваше намерение и буду споспешествовать оному по мере сил моих. — А помолчавши, он прибавил: — А пасики все-таки не оставляйте.

— Зачем же? Пасика пасикою, а школа школою.

Получив такое лестное одобрение своему предположению, он с того же дня принялся хлопотать около своей школы, укрыл ее новыми снопками, позвал двух молодежи и велел вымазать внутри и снаружи белою глиною. А сам между тем недалеко от школы рыл все небольшие ямки для деревьев без всякой симметрии. Соседки, глядя на все эти затеи Степана Мартыновича, не знали, что и думать про своего дьяка. И, наконец, общим голосом решили, что дьяк их, решительно, женится; но когда увидели его на Покрова в суконном гранатовом сертуке, тогда в одно слово сказали: «На протопоповне». Каково же было их удивление, когда после Покрова их дьяк пропал и пропадал недели с три, а когда нашелся, то не один уже, а с четырьмя мальчиками — так лет от семи до десяти. Все это было для соседок непроницаемою тайною, между тем как дело само по себе было очень просто. Степан Мартынович побывал дома в Глымязове и привез с собою двух маленьких братьев и двух племянников обучать их грамоте на собственный кошт. Фундамент школы был положен. Слава о его педагогическом великом даровании (разумеется, не без участия Карла Осиповича) давно уже гремела и в Переяславе, и в пределах его и окончательно была упрочена принятием близнят Сокиры в гимназию и корпус. При таких добрых обстоятельствах к Филипповке школа его была полна учениками и в изобилии снабжена всем для существования необходимым, а близлежащий хутор (не Сокиры, а другого какого-то полупанка) с десятью хатами был наполнен маленькими постояльцами разных званий.

Деятельности Степана Мартыновича раскрылось широкое поле. И он был совершенно счастлив.

Вскоре после Николы возвратился Никифор Федорович из Батурина от Прокоповича. И, к немалому удивлению своему, увидел он недалеко около школы порядочный кусок земли, усаженный фруктовыми деревьями, и в нескольких местах кучи хворосту и кольев. То было приношение тароватых отцов учеников его, по большей части наумовских и березанских

Козаков.

Наступила зима, занесло снегом и хутор Никифора Федоровича, и школу Степана Мартыновича. Но между заметами снега, между школою и хутором, видны были сначала только формы огромных ступней Степана Мартыновича, а потом образовалась и утоптанная дорожка. После дневных трудов Степан Мартынович каждый вечер приходил на хутор, как говорил, почить от треволения дневного. Приходу его всегда были рады, особенно Прасковья Тарасовна. И, действительно, было чему радоваться: в подлунной не было другого человека, который бы с таким, если не вниманием, то, по крайней мере, терпением выслушивал в сотый раз повесть с одними и теми же вариантами, повесть о странствовании Прасковьи Тарасовны в Полтаву и обратно. Прибавляла она иногда к своему повествованию эпизод, почти шепотом, иногда и погромче, если видела, что Никифор Федорович занят чем-нибудь или просто читал летопись Конисского. Тогда она почти одушевлялась, рассказывая о том, как они, возвращаясь из Полтавы, приехали к Успению в Лубны, в самый развал ярмонки, и ввечеру ходили в театр и видели там, как представляли «Козака-стихотворца». Тут она брала тоном ниже: «Прелесть! Просто прелесть! Настоящий офицер той козак-стихотворец. А Маруся — барышня, та й годи. Не налюбуюся, бывало. Да к тому еще запоет:

Нуте, готовьте пляски, забавы.

Ну, барышня, да и только, как будто вчера из Москвы приехала. А как дойдет до слов: «Ему Маруся навстречу бежит», да и пробежит немножко и ручки протянет, как будто до офицера... чи то, до козака-стихотворца, я не вытерплю, бывало, просто зарыдаю, так чувствительно».

— Что это там так чувствительно? — спросит, бывало, Никифор Федорович, когда расслышит.

— Я розказую, как мы в Лубнах...

— Знаю, знаю. Козака или офицера-стихотворца видели. Плюньте на эти рассказы, Степан Мартынович, да садитесь поближе, я вам прочитаю, как ходили наши козаки на Ладожский канал да на Орель. Линию высыпать. А вы бы лучше сделали, Прасковья Тарасовна, если б велели нам чего-нибудь сварить повечерять.

Заметить надо, что Никифору Федоровичу страшно не понравился знаменитый «Козак-стихотворец». Он обыкновенно говорил, что это чепуха на двух языках. И я вполне согласен с мнением Никифора Федоровича. Любопытно бы знать, что бы он сказал, если бы прочитал «Малороссийскую Сафо». Я думаю, что он выдумал бы какое-нибудь новое слово, потому что слово «чепуха» для нее слишком слабо. Мне кажется, никто так внимательно не изучал бестолковых произведений философа Сковороды, как к[нязь] Ш[аховской]. В малороссийских произведениях почтеннейшего князя со всеми подробностями отразился идиот Сковорода. А почтеннейшая публика видит в этих калеках настоящих малороссиян. Бедные земляки мои! Положим, публика — человек темный, ей простительно. Но великий грамматик наш Н. И. Греч в своей истории р[усской] словесности находит [в них], кроме высоких эстетических достоинств, еще и исторический смысл. Он без всяких обиняков относит существование козака Климовского ко времени Петра I. Глубокое познание нашей истории!!

По прочтении эпизода из летописи Конисского друзья повечеряли и разошлись.

Так или почти так проходили длинные зимние вечера на хуторе. Иногда приезжал и Карл Осипович нанюхаться табаку из своей раковинной табакерки и уезжал не вечерявши, разве

только иногда выпьет рюмочку трохимовки и закусит кусочком бубличка, а иногда так и совсем не закусит.

Время близилось к праздникам. Степан Мартынович уже начал распускать своих школяриков по домам. Уже и кабана, и другого закололи на хуторе. Прасковья Тарасовна собственноручно принялась за колбасы и прочие начинки к празднику. Везде и по всему видно было, что праздник на улице ходит, а в хату еще боится взойти.

В такой-то критический вечер приехал на хутор Карл Осипович и привез письмо с почты, и письмо то было из Полтавы. От детей. И, как бы вы думали, от кого еще? От И. П. Котляревского. Прасковья Тарасовна, когда услышала, что письмо из Полтавы, вбежала в комнату и колбасу забыла оставить в вагони.

— Где же это письмо? Голубчик, Карл Осипович, где же письмо? Прочитайте мне, дайте мне его, я хоть поцелую.

— Отнесите сначала колбасу на место, а потом уже приходите письмо слушать, — сказал Никифор Федорович, разворачивая письмо.

— Ах я божевильная, и не схаменуся! — вскрикнула она и выбежала за двери.

Вскоре все уселись вокруг стола, и началось торжественное чтение писем.

Сначала были прочтены письма детей, с повторением каждого слова по нескольку раз, собственно для Прасковьи Тарасовны, причем, разумеется, не обошлось без слез и восклицаний, как, например:

— Ах вы, мои богословы-философы! Соколы-орлы мои сизые, хоть бы мне одним оком посмотреть теперь на вас!

Так как уже начинало смеркаться, то догадливая Марина, без всякого со стороны хозяйки распоряжения, внесла в комнату свечу и поставила на стол. Никифор Федорович развернул письмо Ивана Петровича, сначала посмотрел на подпись и [потом] уже начал читать:

«Ласкавии мои други, Никифор Федорович, Прасковья Тарасовна и Степан Мартынович».

Все молча между собою переглянулись.

Но так как письмо было писано по-малороссийски, что не всякий поймет, а другой и понял бы, так уст своих марасть не захочет мужицкими словами, а потому я расскажу только содержание письма, отчего повесть моя мизерная много потеряет.

После обыкновенных поздравлений с наступающими праздниками Иван Петрович описывает добрые качества детей их и удивляется их необыкновенному сходству, как физическому, так и нравственному, и говорит, что он по мундирам их только и узнает. «Я за ними, — говорит, — посылаю каждую субботу. Воскресенье они проводят со мною, и я не налюбуюсь ими. Не желал бы я у себя иметь лучших детей, как ваши дети. Моя «Муха» наполняется еженедельно описанием их детских прекрасных качеств». Далее он пишет, что лучше бы было повести их по одной какой-нибудь дороге, по военной или по гражданской. А далее пишет, что нет худа без

добра, что от различного их воспитания выйдет психический опыт, который и покажет, какая произойти может разница от воспитания между двумя субъектами, совершенно одинаково организованными. А далее пишет, что он немало удивился, когда узнал, что они хорошо читают по-немецки и еще лучше по-латыни, и спрашивает, кто их учил. (Тут молча переглянулись Карл Осипович и Степан Мартынович.) Потом пишет, что Гапка их тоже полюбила и снабжает их каждое воскресенье пирожками и бубликами на целую неделю. «Раз у меня Зося попросил гривенник на какую-то кадетскую требу, но я ему не дал: по опыту знаю, что нехорошо давать детям деньги».

— А может, оно, бедненькое, учителю хотело дать, чтобы лучше показывал, — проговорила Прасковья Тарасовна,

но Никифор Федорович взглянул на нее по-своему, и она умолкла.

И говорит: «Чтоб вы об них не беспокоились: праздники они у меня проведут. А на Свят-вечер с вечерю пошлю их к моему другу N. У него тоже есть дети, и они там весело встретят праздник Р[ождества] X[ристов]». Дальше пишет, чтоб они не забывали его, старого, и чтобы на время каникул приезжали в Полтаву, и что в Полтаве квартиры очень дешевы, а что Гапка его варит отличный борщ из карасей сушеных. «Уж как это она делает, — говорит, — Бог ее знает».

Оставайтесь здоровы, не забывайте одынокого И. Котляревского.

P. S. Поклонитесь, як побачитесь, доброму моему Степану Мартыновичу Левицкому».

По окончании письма Карл Осипович встал, понюхал табуку и сказал: «Ессе homo!», Степан Мартынович тоже встал и заплакал от умиления. Да и как не заплакать? Ему, ничтожному дьячку, пишет поклон, и кто же? Попечитель гимназии. Прасковья Тарасовна тоже встала и, обратясь к образам и крестясь, с слезами на глазах говорила: « Благодарю Тебе, милосердый Господы, за Твое милосердие, за Твою благодать святую. Послал Ты ангела-хранителя моим малым сиротам на чужине». И она молча продолжала молиться. А Никифор Федорович сидел, облокотясь над письмом, и хранил глубокое молчание. Потом свернул письмо, поцаловал его, глубоко вздохнул, встал из-за стола и молча вышел в другую комнату. Через полчаса он вошел, и глаза его как будто покраснели. Прасковья Тарасовна обратилась к нему с вопросом:

— Есть ли у него пасика? Я тогда, как была в Полтаве, и забыла спросить у Гапки. А то послать бы ему хоть бочку меду. К празднику уже не успеем, то хоть к Великому посту.

— Пошлем две, — сказал Никифор Федорович и начал ходить молча по комнате.

Гости простились и пошли восвояси с миром, дивясь бывшему.

Прошли и праздники, и зима проходит, а весна наступает, вот уже и Велыкдень через неделю. Степан Мартынович распускает своих учеников в дома родительские и наказывает, чтобы прибывали в школу не раньше Вознесения Христова. По примеру семинарскому он тоже сделал вакацию своим школярам. После праздника, распорядившись хорошенько домом, т. е.

перепоруча смотрение за школою и за меньшими братьями старшим братьям, двум богословам, а третьему философу, и наказав, чтобы в часы досуга рыли ров, не весьма глубокий, около древ насажденных, приведя все в порядок, он позычил у знакомого ему мещанина беду, разумеется не такую франтовскую, как у Карла Осиповича, а так себе, простенькую. А у другого, тоже знакомого, мещанина нанял коня с хомутом на двадцать дней и ночей. Запрет коня в беду и в одно прекрасное утро, простившись с хутором и со школою, сел и поехал легонькою рысцою в Полтаву.

Прасковья Тарасовна послала им свое, хотя заочное, родительское благословение и мешок бубличков, как-то особенно испеченных. А Зосе своему и полкарбованця денег, которые он должен был ему передать тихонько от Ивана Петровича. Степан Мартынович обещал все это исполнить, но не исполнил. Он за полкарбованця отслужил молебен угоднику Афанасию о здравии отроков Зосима и Савватия, а Зосе крепко-накрепко наказал, чтобы он не осмеливался просить гривенничков у Ивана Петровича.

В Полтаве с ним не случилось ничего необыкновенного, кроме разве, что он присутствовал в соборе при рукоположении во диакона его старого знакомого баса и что новый диакон зазвал его к себе, напоил пьяным и вдобавок поколотил слегка. Из чего и заключил Степан Мартынович, что его приятеля никакой сан не исправит, что он как был басом, так и останется им даже до могилы.

По возвращении восвояси из далекого и не исполненного приключений странствия школу свою нашел он благополучною, а благодарные братья обрыли кругом новый вертоград его, да еще и лозою огородили. Поблагодарив их прилично, т. е. купив им по паре юхтовых сапог и демикотону на жилеты, и их же просил пособить ему перенести из хутора пчелы в свою пасику. Что на другой же день и было исполнено. Теперь он, кроме того, что стихарный дьяк, учитель душ до тридцати учеников, да еще и пасичник немалый.

Проходили невидимо дни, месяцы и годы. Зося и Ватя росли духом и телом в Полтаве, а Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна старились себе безмятежно на хуторе и получали исправно каждый праздник поздравительные письма от детей. Потом стали получать ежемесячно, потом и чаще и уже не наивные детские письма, а письма такие, в которых начал определяться характер пишущих. Так, например, Зося писал всегда довольно лаконически: что он почти нищий между воспитанниками и что по фронту он из числа первых. А Ватя писал пространнее: он скромно писал о своих успехах, о нищете своей он не упоминал. А о добром и благородном своем покровителе он исписывал целые страницы. Из его писем можно было узнать костюм, привычки, занятия, словом, ежедневный быт автора «Полтавки Наталки», «Москаля-чаривныка» и «Перелицованной „Энеиды“».

В конце четвертого года получены были от детей письма такого содержания:

«Дражайшие родители!

Выпускной экзамен я сдал прекрасно: получил хорошие баллы во всех науках, а по фронту вышел первым. Меня посылают в дворянский полк в Петербург. А потому и прошу прислать мне сколько можете на первый раз денег на непредвио денные расходы.

Ваш покорный сын З. Сокирин».

— Сокирин, Сокирин, — худой знак, — говорил тихо Никифор Федорович и развертывал письмо другое.

«Мои нежные, мои милые родители!

Бог благословил ваше обо мне попечение и мои посильные труды. Я сдал свой экзамен почти удовлетворительно, к великой моей радости и радости нашего всеми любимого и уважаемого благодетеля, который кланяется вам и достойному Степану Мартыновичу. По экзамену я удостоился драгоценной для меня награды: мне публично вручил сам ректор в изящном переплете Вергилиеву «Энеиду» на латинском языке и тут же публично объявил, что я удостоился быть посланным в университет, который я сам изберу, на казенный счет, по медицинскому факультету. И я теперь прошу вашего родительского благословения и совета, какой именно избрать мне университет: харьковский или ближайший киевский? Я желал бы последний, потому что там профессора хорошие, особенно по медицинскому факультету. А более желал бы потому, чтобы быть ближе к вам, мои бесценные, мои милые родители!

Жду Вашего благословения и совета и целую ваши родительские руки.

Остаюсь любящий и благодарный ваш сын С. Сокира.

Р. S. Поцелуйте за меня незабвенного моего Степана Мартыновича. Вчера и сегодня благодетель наш жалуется на боль в ногах и пояснице и третий день уже из дому не выходит. Помолитесь вместе со мною о его драгоценном здравии».

По прочтении письма Никифор Федорович сказал: «Ну, слава тебе Господи, хоть один походит на человека».

— Да еще на какого человека, — прибавил Карл Осипович. — Я вам предсказываю, что из него выйдет доктор, магистр, профессор — и знаменитый профессор медицины и хирургии. А вдобавок член многих ученых обществ. Уверяю вас, что так будет. Ай да юный эскулап! — воскликнул он, щелкая по табакерке.

— А из Зоси, вы думаете, ничего не выйдет путного? — с таким вопросом обратилась Прасковья Тарасовна к Карлу Осиповичу.

— Боже меня сохрани так думать. Из него может выйти хороший офицер, полковник, генерал и даже фельдмаршал. Это будет зависеть от самого себя.

— Толците и отверзется, просите и дастся вам, — проговорил вполголоса Степан Мартынович.

— Что было, то видели, а что будет, то увидим, — сказал сухо Никифор Федорович и ушел к себе в пасику. Долго ходил он около пасики, волнуемый каким-то смешанным, неопределенным чувством между радостью и грустью. И, успокоив себя надеждою на всеблагое провидение, он возвратился в хату, повторяя изречение Богдана Хмельницкого: «Що буде, то те й буде. А буде те, що Бог нам дасть».

На другой день написал он самое искреннее и благодарное письмо Ивану Петровичу, послал детям по 25 рублей, всепокорнейше прося Ивана Петровича вручить их детям, и чтобы он величайшую милость для него сделал: известил его, какое дети сделают употребление из

денег. Потому, говорит, что деньги в молодых руках — вещь весьма опасная, и ему, как отцу, извинительна подобная просьба. Савватию он советовал избрать университет киевский, а Зосиму просил Ивана Петровича сделать наставление, какое Господь внушит его добродетельному сердцу.

Через месяц они имели великое счастье обнимать Ватю у себя на хуторе. Он проездом в Киев уговорил товарищей своих пробить сутки в Переяславе, чтобы повидаться ему с родными. На что товарищи охотно согласились, тем более, что он и их пригласил на хутор. Зося тоже отправился с товарищами из Полтавы, но только по Харьковской дороге, а потому и не мог заехать на хутор.

После первых привитаний Ватя побежал в школу с заветною «Энеидою» в руках. И, найдя своего наставника в школе между жужжащими школярами, как матку между пчелами, бросился к нему на высокую шею. После первого, и второго, и третьего поцелуя он подал ему драгоценную книгу, говоря:

— Вы первый раскрыли мне завесу латинской мудрости, вам и принадлежит сия мудрейшая и драгоценнейшая для меня латинская книга.

С умилением принял и облобызал книгу Степан Мартынович. И, любясь переплетом, он развернул ее и увидел между страницами красную бумагу. Это были 10 карбованцев благодарного Вати.

— Вы в книге забыли деньги. Вот они.

— Нет, это вам Иван Петрович посылает через меня, чтобы вы потрудились передать их вашим бедным родителям. (А в самом деле это были оставшиеся от 25 рублей, присланных ему в Полтаву.)

На радости Степан Мартынович распустил учеников гулять, а сам с Ватей пошел на хутор, держа в руках развернутую книгу и декламируя стихи знаменитого поэта. И если бы Ватя так же внимательно слушал, как Степан Мартынович читал, то очутились бы оба по колена в луже, а то только один педагог.

Погостивши суток двое-трое на хуторе, Ватя начал собираться в дорогу, а товарищи так были довольны угощением гостеприимной Прасковьи Тарасовны, что и не думали о продолжении пути. А потому немало удивились, когда [он] стал прощаться с своими так называемыми родителями. Делать было нечего, и они простились. И через несколько дней, прогуливался в Шулявщине, готовился держать экзамен для поступления в университет.

Во время пребывания своего в университете Савватий каждые каникулы приезжал на хутор и превращался в пасичника. Тогда начали уже показываться статьи в журналах Прокоповича о пчеловодстве. Он их внимательно прочитывал и не без успеха применял к делу, к величайшей радости Никифора Федоровича. Иногда вместе с Карлом Осиповичем делали химические и физические опыты и даже лягушку по методу Мажанди. А по вечерам собирались все на крыльчке, и он читал вслух «Энеиду» Котляревского или настоящую Вергилиеву «Энеиду». А так [как] он любил страстно музыку, особенно свои родимые заунывные напевы, то с большим успехом брал у Никифора Федоровича уроки на гусях и после десятка уроков пел уже, сам себе аккомпанируя:

Стала хмара наступаты,

В Киев он всегда возвращался с порядочно набитой портфелью местной флоры и несколькими ящичками мотыльков и разных букашек.

В продолжение пребывания своего в дворянском полку Зося писал ежемесячно аккуратно письма содержания почти однообразного; некоторые, или, лучше сказать, большую часть своих писем вариировал фразой: «Я скоро Божиею милостию прапорщик, а у меня денег ни копейки нет». На что обыкновенно говорил Никифор Федорович: «А будешь офицером, и гроши будут».

Однажды писал ему Ватя, чтобы он прислал ему литографированный эстамп с картины «Последний день Помпеи», и для сей требы послал ему три рубли денег. Но Зося благоразумно рассудил, что три рубли — деньги, а эстамп что такое? Листок испачканной бумаги, больше ничего. И без обиняков написал брату, что об этакой картине в Петербурге он и не слышал, а что деньги он ему после вышлет; а если хочет, то на Невском проспекте много разных картинок продается, то можно будет купить одну и переслать. Ватя написал ему, чтобы он купил какой-нибудь эстамп, если уж нельзя достать «Последний день Помпеи». Он и купил ему московское литографированное грошовое произведение «Тень Наполеона на о[строве] св. Елены». Ватя, получа сие произведение, не мог надивиться эстетическому чутью родимого брата. И знаменитый куншт полетел в пещь огненную.

Вскоре после всеожжения «Тени Наполеона» с шумом явились на свет «Мертвые души». «Б[иблиотека] для чтения», в том числе и солидные, благомыслящие люди, разругали книгу и автора, называя книгу грязною и безнравственною, а автора просто сеятелем плевел на почве воспитания благороденного юношества.

Несмотря, однако ж, на блюстителей нравственности и блюстительницу русского слова, «Мертвые души» разлетелись быстрее птиц небесных по широкому царству русскому. Прилетело несколько экземпляров и в древний Киев и дебютировали, разумеется, в университете. Инспектор с неудовольствием и даже страхом заметил, что студенты собираются в кружки и что-то с хохотом читают. Сначала он подумал (что весьма вероятно): «Верно, какая-нибудь каналья сочинила на меня пасквиль». Но заметивши, что студенты читают печатанную книгу, [у него] от сердца отлегло. И, как человек, мало следивший за движением отечественной литературы, и человек, не принадлежащий к банде блюстителей нравственности, то, узнавши, что книга титулуется «Мертвые души» — должно быть, страшная, — и махнувши рукою, сказал: «Пуускай их себе читают, лишь бы не пьянствовали да на Кресты окон бить не ходили». Видно, на инспектора дворян п[оэма] «Мертвые души» не производила никаких опасений.

Савватий сначала со вниманием прослушал «Мертвые души», потом с большим вниманием прочитал, а прочитавши, возымел страсть во что бы то ни стало приобрести эту книгу и во время каникул читать вслух на хуторе. Собравшись с последними крохами и признанявши рубля с полтора, отправился он в контору застрахования жизни, она же и книжный магазин. Спрашивает «Мертвые души», а книгопродавец и глаза вытарачил. Ему показалось, что посетитель спрашивает мертвые души те, которые застраховали свое земное бытие в его конторе. И, обратясь к посетителю, сказал, что [есть] только две. «Пожалуйте мне один экземпляр». Книгопродавец снова стал в тупик. «Вы меня не так понимаете. Получена ли у вас книга под названием „Мертвые души“, сочинение Н. Гоголя?» — «Никак нет-с, еще и объявления не читали». — «Значит, нет надежды и иметь от вас ее когда-нибудь», — сказал Савватий и вышел на улицу. Хотел было сходить к Глюзбергу, да вспомнил, что там не продают русских книг, зашел на минутку домой, написал брату письмо, вложил в него деньги

и отнес на почту. Бедняк! Ему и в голову не пришла «Тень великого Наполеона».

Через месяц получает он повестку из почтовой конторы, что получена на его имя посылка на 5 руб[лей] сереб[ром]. В восторге бежит он к инспектору, а от него прямо в почтовую контору. Спрашивает посылку, ему подают. Пощупал — мягкое. «Она», — проговорил он и вышел из конторы. На улице разрезал он веревочку перочинным ножиком, распорол клеенку, развернул обертку и с ужасом прочитал: «Никлас — Медвежья Лапа». Потемнело в глазах у бедняка, и полураскрытая посылка вывалилась из рук. Простояв с минуту, пошел он, грустный, сам не зная куда, а посылка так и осталась на улице, пока ее не поднял какой-то нищий и, осмотревши внимательно, пошел прямо в кабак. Целовальник имел счастье за шкалик приобрести бессмертное творение и, как человек грамотный и любознательный, и теперь коротает счастливые досуги, а иногда и вслух читает своим запоздалым посетителям.

При посылке письма не было, а была всунута лаконическая записка пренаивного содержания: «„Мертвые души“ запрещены. И цензор, и автор сидят в крепости. А посылаю тебе дивную книгу — „Медвежью Лапу“. Твой брат такой-то».

Несмотря, однако ж, на то, что и цензор, и автор сидели в крепости, «Мертвые души» вскоре явились в конторе застрахования жизни и продавались публично. И Ватя, проходя однажды мимо конторы, увидел экземпляр, выставленный в окне. Хорошо, что он не читал братней записки, а то, пожалуй, брата назвал бы бессовестным лгунишкой. Прочитавши несколько раз обертку и полюбовавшись ею же, он решился во что бы то ни стало приобрести великую книгу, тем более, что каникулы близились. После акта, в тот же день, снес он мундир свой, как вещь теперь совершенно ненужную, к одолжителю презренного металла за умеренные проценты. И, приобретя за вырученные деньги экземпляр великой книги, он имел неизъяснимое наслаждение читать ее вслух на хуторе. Вечером на крыльце, а днем под липою в пасике.

В сотый раз уже прочитывал он почти наизусть внимательно слушавшей его Прасковье Тарасовне «Повесть о капитане Копейкине», когда въехал на двор на своей беде Карл Осипович и издали показал письмо. Чтение о Копейкине, разумеется, было прервано, а чтение письма было начато самим Никифором Федоровичем и, разумеется, про себя. Прочитавши письмо, Никифор Федорович бросил его на пол и в досаде сказал: «Только и знает, что денег просит. Шутка сказать, триста рублей». И он ушел в покои, а за ним Карл Осипович.

Прасковья Тарасовна, поднявши осторожно письмо, передала его Вате и просила прочитать (сама она скорописи не читала, а только печать), только не так громко, как про того копытана. И он прочел вполголоса следующее:

«Драгоценные мои родители!

Божиею милостию я теперь прапор л[ейб]-г[вардии] гренадерского полка. А вы должны сами знать, как должен себя держать г[вардейский] офицер. Здесь не Полтава и не тщедушный Переяслав, а люди добрые говорят, столица. А потому-то мне и нужно на первое обзаведение по крайней мере 300 рублей серебром.

Затем остаюсь ваш сын З. Сокирин».

Ватя, прочитавши письмо, сложил его и подал Прасковье Тарасовне.

— Да ты все прочитай и тогда его отдай уже мне, я его спрячу.

— Да я все и прочитал.

Она, бедная, не поверила, развернула письмо, пересчитала строчки и, убедившись в горькой истине, бросила письмо под стол и, закрыв лицо руками, горько-горько зарыдала.

Бедная ты, бедная! Это только цветы, а ядовитый плод еще и не завязывался.

Через несколько дней со слезами вымолила она 300 рублей у Никифора Федоровича, и так [как] он отказался писать письмо, а Ватя уехал, то она сама церковными буквами написала письмо такое:

«Зосю мой, орле мой! Выплакала, вымолила я и посылаю тебе деньги, а Никифор Федорович на тебе гневается».

Завернула в письмо деньги и сама повезла на почту. Почмейстер немало удивился, приняв письмо с деньгами и без адреса на конверте. Поехала она к Карлу Осиповичу, тот написал адрес, и письмо было отправлено.

Получивши деньги, гвардейский прапорщик не обратил внимания на письмо или, лучше сказать, на обертку. А другой, тоже гвардейский прапорщик, поднял эту обертку и, прочитавши, спрятал в карман, а на другой день в экзерцисгаузе показал ее полковой братии. И пошла потеха. Сначала не понимал Зося, в чем дело. А когда понял, то в одно прекраснейшее утро, после ученья, пригласил честную компанию к Сен-Жоржу, задал великолепный завтрак и полупьяный рассказал братии вот что насчет лаконического письма: что у него в Полтаве осталась *амика*, т. е. любовница, богатая и безграмотная купчиха, которая крадет у мужа деньги и снабжает ими вашего покорнейшего слугу. «Ура! — заревела компания. — За здоровье всех безграмотных любовниц!» Тосты повторялись до самого вечера. Вечеру вся компания отправилась смотреть Тальони, разумеется, на счет счастливого любовника.

Не прошло и полгода, как от счастливого любовника было получено на хуторе письмо такого содержания:

«Через вас, нежные, попечительные родители, должен я оставить гвардию и просить перевода в армию, потому что я нищий, а у вас сундуки трещат от золота.

Ваш благодарный сын Сокирин».

А причина перевода его в армию была вот такая.

Однажды у Марцинкевича в танцклассе (который он посещал каждую пятницу неукоснительно), так однажды в этом знаменитом танцклассе за какую-то изменницу завязал он, пьяный, и тоже с пьяными черкесами, драку. В дело вмешалась полиция, и кончилось тем, что черкесам, как азиатцам, извинили, а его, как европейца, перевели в армию тем же чином.

После этого перевода не замедлил последовать другой, только без всякого сочинения со стороны моего забубенного героя, потому что он прекратил всякую корреспонденцию с скаредами, как он выражался, т. е. со своими благодетелями.

Для писателя, более плодovitого, нежели аз грешный, и более знакомого с военным бытом нашей многочисленной благородной молодежи, для такого писателя здесь открывается обширнейшее поле, усеянное такими горькими семенами, что плод их когда созреет, то потомкам нашим не нужно будет покупать сабура. А талантливый писатель, как хороший огородник, мог бы понемногу вырывать плевелы из пшеницы. И было бы благо. Но талантливые писатели, ведающие этот быт, обращают более свое наблюдательное внимание на солдатские поговорки и их безотрадные, хотя и кажущиеся удалые, песни.

Волей-неволей, а я должен объяснить причину перевода моего героя из армии во внутреннюю стражу, т. е. в астраханский гарнизонный баталион.

В городе Нежине квартировал армейский пехотный полк NN. В этот полк был переведен мой приятель и поселился в белой хатке с садиком и цветничком, как раз против греческого кладбища. В первый же день он заметил в цветнике такой цветок, что у него и слюнки потекли. Этот очаровательный цветок была красавица на самой заре жизни и одно-единственное добро беднейшего вдового старика мещанина Макухи. Продолжение и конец повести вам известен, терпеливые читатели. И я не намерен утруждать вас повторением тысячи и одной, к несчастью, не вымышленной, повести или поэмы в этом плачевном роде, начиная с «Эды» Баратынского и кончая «Катериной» Ш[евченка] и «Сердечной Оксаной» Основьяненка. Продолжение и конец решительно один и тот же. С тою только разницею, что приятеля моего чуть было не заставили жениться — на мещанке Якилыне, дочери Макухи. Спасибо доброму старику, полковому командиру: он вступился за своего офицера. А то бы как раз перевенчали офицера с мещанкою. Но и добрый старик, полковой командир, лучше ничего не мог придумать, как подать ему немедленно в перевод, и концы в воду. Он назавтра же подал в перевод. Он навещал Якилыну, едва движущуюся, и уверял старика, что он с каждой почтой ожидает родительского благословения. Пришел перевод. И он для такой радости зашел в так называемую кондитерскую Немина и порядком кутнул перед выездом, и начал рассказывать какому-то тоже нетрезвому, но богатому Попандопуло свое рыцарское похождение с Якилыною. И так увлекательно рассказывал, что богатый эллин не вытерпел и заехал ему всей пятерней в благородный портрет, а он эллина, а эллин опять его, и пошла потеха. Но как эллин был постарше летами и силами послабее, то он и изнемог. А к тому времени подоспел блюститель в виде городничего и повелел борющихся взять под арест. Завязалось дело. Богатого торгаша эллина оправдали, а благородного неимущего офицера оженили на мещанке Якилыне и перевели в астраханский баталион.

О моя бедная Якилыно! Если [бы] ты могла провидеть свое бесталанье, свою горькую будущую долю, ты убежала бы в лес или утопилась бы в гнилом Остре, но не венчалась бы с благородным офицером. Но ты, простодушная мещанка, в глубине непорочной души своей веровала пустой фразе, что любовь нежная укрощает и зверя лютого. Это только фраза, больше ничего. А ты, дурочка, думала, что в самом деле так. Бедная, как же ты страшно поплатилась за свое простодушие! Ты погибла, и не спасла тебя от горькой участи ни нежная любовь твоя к пьяному чудовищу, ни даже единая твоя золотая надежда — твой первенец, твое прекрасное дитя. Вы оба валялись [на] грязной астраханской улице, пока вас не прибрала и не похоронила великодушная полиция.

Но, несмотря на все проказы, приятель мой близился уже к чину капитана. А брат его только что кончал курс в университете св. Владимира.

По экзамену удостоился он скромного звания лекаря, с чином 12 класса. А после акта объявлено ему, что он, по воле правительства, как казеннокоштный воспитанник, назначается в оренбургский третьеклассный госпиталь. В канцелярии ему выдали треть жалованья вперед, прогоны и подорожную. И он, как бедняк, простился наскоро с товарищами и на другой день без особенной грусти оставил древний Киев, быть может, навсегда. Товарищи хотели было проводить его по крайней мере до Рязанова, но, вероятно, проспали, потому что он переправился через Днепр до восхода солнца, а в Бровари приехал к тому самому часу, как туркенья-смотрительша раздувала в сенях на очаге огонь для кофейника. Выпивши за умеренную цену стакан кофе и взявши, тоже за умеренную цену, бутылочку броварского ликеру (изобретение той же туркени-смотрительши), он ввечеру уже весело рассказывал о своем экзамене благосклонным слушателям на ганку уединенного хутора.

Савватий решился провести недели две на хуторе, быть может, последние, проведенные им в кругу самых милых, самых дорогих его сердцу людей. Несмотря на однообразие сельской, а тем более хуторянской жизни, дни мелькали, как секунды. Так они вообще быстры в радости и так же медленны в печали. Если бы на хуторе все, не исключая и Марины, желали б скорого конца двум роковым неделям, то они продлились бы по крайней мере месяц. Но так как общее желание было отдалить роковой день расставания, то он, к досаде каждого, и близился так быстро.

Накануне отъезда, после обеда, Никифор Федорович взял под руку Савватия и по обыкновению повел его в пасику. Не доходя шагов несколько, он остановился и показал на две роскошные липы перед самым входом в пасику и сказал: «Эти два дерева привез я из архиерейского гаю, что в Андрушах, в тот самый год, как вы были найдены на моем хуторе, и посадил на память той великой радости. Смотри, какие они теперь широкие и высокие и какой роскошный цвет дают. Вас же с братом не судил мне Господь на старости лет видеть такими же одинаково прекрасными, как эти липы. Брат твой оскорбил благородную природу человека. Он поругал все на земле святое в лице вашей нежнейшей, хотя и не родной, матери, а моей доброй жены. Меня он мог забыть: я человек суровый и не люблю излишних нежностей с детьми. Но она, она, моя бедная великомученица, она глаз с него не спускала. И теперь что же? Пятый год хоть бы какую-нибудь весточку о себе подал. Как в воду канул. А она, бедная, день и ночь за него молится и плачет. Правда, я сам виноват... Но это было ее желание, чтобы видеть его офицером, а не благородным человеком. Жни, что посеяла».

И они тихо вошли в пасику, сели под липою, и Никифор Федорович продолжал:

— Да, тяжело, Ватя, очень тяжело кончать дни свои и не видеть своих надежд осуществившихся. Ты, Ватя, едешь теперь в такую далекую страну, которой у нас и по слухам не знают. Пиши нам со старухою. Не ленись, описывай все, что увидишь и что с тобой ни случится. Пиши все. Это для нас, почти отчужденных стариков, будет и ново, и поучительно. А если встретятся тебе нужды какие в чужой далекой стороне, пиши ко мне, как в ломбард, из которого выслали [бы] тебе твои собственные деньги. У меня для тебя всегда найдется четверик-другой карбованцев. А пока вот тебе 300 их, таких самых, как и Зосе послала моя старуха. Дорога далека, а дорога любит гроши. — И он подал пачку ассигнаций.

Савватий отказался от денег, говоря, что для дороги у него есть прогоны и треть жалованья, а на месте если нужны ему будут деньги, то он напишет, что в дороге лишние деньги — лишняя тяжесть.

— Ну, как знаешь. Тебя учить нечего. Кто не нуждается в деньгах, тот богаче богатого. Теперь я тебе, Ватя, все сказал, что у меня было на сердце. И еще раз прошу: не забывай нас, стариков, особенно ее. Она, бедная, совершенно убита молчанием Зоси.

После этого старик отправился отдохнуть по обыкновению под навес, а Савватий взял «Энеиду» Котляревского и прочитал несколько страниц вполголоса, как бы убаюкивая старика. Увидя, что монотонное чтение произвело желаемое действие, он закрыл книгу, встал и тихо вышел из пасики. И до самого вечера бродил вокруг хутора, туманно размышляя о своей одинокой будущности.

Вечеру, когда собрались все на ганку, пришел и он. И после нескольких слов, сказанных почти наобум, он как бы вспомнил что-то важное и, обратясь к Никифору Федоровичу, сказал:

— Мне давно хотелось посмотреть на вашу скрипку, да все забываю, а вы как-то говорили, что это скрипка дорогая.

— Да таки и очень дорогая, и тем более дорогая, что на ней играл благодетель мой, покойный отец Григорий. И мне завещал ее по смерти.

— Позвольте мне хоть взглянуть на нее.

— Взгляни, пожалуй, да что ты в ней увидишь?

— А может быть, и увижу. — И с этим словом он пошел в комнату Никифора Федоровича, вынул из ящика скрипку, попробовал струны и, выйдя в большую светлицу, заиграл — сначала мелодию, а потом вариации Лепинского на известную червонорусскую песню:

Чи я така уродылась,
Чи без доли охрестылась?
.....

Эффект был совершенный. Минуты две сидели слушатели молча, как бы очарованные. Первый вскочил со скамьи Никифор Федорович, вбежал в светлицу, со слезами обнял виртуоза и проговорил:

— Сыну мой, радость моя! Надеждо моя золотая. Когда ты, где ты выучился на скрипке играть эту божественную песню?

Савватий рассказал ему, что он случайно встретил в Киеве, по правде сказать, на Крестах, нищего старика-скрипача, «так играющего, что у меня волосы дыбом становились. Я познакомился с ним, просил его заходить ко мне, и он выучил меня не только играть на скрипке, но чувствовать и понимать музыку».

— Напиши в Киев, чтобы приехал ко мне этот Божий человек. Я все ему отдам и даже мою пасику.

— Его уже нет между живыми. Я сам его на своих плечах вынес на *Скавицу*.

— Благодарю тебя, чадо мое единое, что покрыл ты землю прах великого человека. Вот что, — продолжал он с расстановкою. — Долго я думал, кому я оставляю, кому я завещаю мое дорогое наследие, мою скрипку, гусли и книги. Думал было, грешный, в гроб положить с собою, потому что не видел вокруг себя человека, достойного владеть таким добром. А теперь я человека вижу такого, и человек этот ты, моя золотая надеждо. Возьми же скрипку себе теперь. А книги и гусли наследуй мне вместе со всем добром моим, а пока пускай они улаживают нашу одинокую старость.

И он подошел к гуслиам, раскрыл их, попробовал струны и, расправивши обеими руками свою

густую широкую серебряную бороду (он уже три года ее носит), как некий Оссиан, ударил по струнам —

И вещи зарокотали.

После прелюдии запел он своим старческим, дребезжащим, но вдохновенным голосом; к нему присоединил свой свежий тенор Савватий, и они пели:

У степу могыла
З витром говорыла:
Повий, витре буйнесенький,
Щоб я не чорнила.
.....

Карл Осипович, уже на что тугой на слезы, и тот не вытерпел, вышел из светлицы, вынимая из кармана платок. А когда запели они:

Летыть орел через море:
Ой дай, море, пыты!
Тяжко, важко сыротыни
На чужини житы, —

так Карл Осипович уже и в светлицу не мог войти, так и остался на ганку до того часу, пока не сел в свою беду и не уехал в город.

На другой день к обеду было приглашено покровское и благовещенское духовенство. Сначала сам протоиерей прочитал акафист Пресвятой Богородице, причем Степан Мартынович с своими школярами хором пели «О всепетая мати». Потом соборне служили молебен, а Степан Мартынович, облачась во стихарь, читал «Апостола». По окончании молебна пропето хором было «Многолетие» трижды.

Духовенство трапезовало в светлице, а школярам подан был обед на досках на дворе. А после обеда сама Прасковья Тарасовна выдала им по кнышу, по стильныку меду и по пятаку деньгами.

А к вечеру Савватий Никифорович переменял лошадей на первой станции, и, к немалому его удивлению, увидел он при перекладке вещей кадущку с медом и мешок яблок.

В Полтаве зашел он поклониться домику покойного Ивана Петровича. Его встретил молодой, довольно неуклюжий человек и слепая Гапка. Отслужил панихиду в домике за упокой души своего благодетеля и, грустный, выехал он из Полтавы, благословляя память доброго человека.

Объехавши собор, спустился он с горы и как раз против темной треглавой деревянной церкви, Мартыном Пушкарем построенной, остановил он почтаря и долго смотрел не на памятник 17 века, а на противоположную сторону улицы, на беленькую, осененную зеленым садиком хатку. Прохожие думали, что он просил напиться, [а] ему долго не выносят. Хатка ему показалась пусткою, и он хотел уже сказать почтарю «пошел», как вдруг в разбитом окне хатки показалась молодича с ребенком на руках. Он вздрогнул и едва проговорил, глядя на молодичу: «Можна зайты?» — «Можна», — ответила молодича, и он соскочил с телеги, перешагнув перелаз и очутился в хатке.

— Здравствуй, Насте. Узнала ли ты меня?

— Ни. — И сама вспыхнула и вздрогнула.

Долго и грустно смотрел [он] на ее прекрасную и грациозно опущенную на грудь голову. Она тоже молчала. Если бы не шевелившиеся на груди складки белой сорочки, то ее можно бы принять за окаменелую. Мгновенный румянец сменился бледностью, и белокурый ребенок казался играющим на плечах мраморной Пенелопы. Савватий взял ее за руку и проговорил:

— Так ты мене и не узнала, Насте?

— Узнала... Я на дворе еще узнала, да только так... стыдно было сказать, — говорила она, и из карих прекрасных ее очей выкатывались медленно крупные слезы. Ребенок протягивал ручку к Савватию и лепетал: «Тату! тату!»

— Я еду далеко, Насте, и заехал к тебе проститься.

— Спасыби вам, — проговорила она шепотом.

— Прощай же, моя Настусю! — И он поцеловал ее в щеку и быстро вышел на улицу, сел в телегу и уехал.

Настя долго стояла на одном месте и только шептала: «Прощайте, прощайте!» И, взглянув на ребенка, горькогорько заплакала.

Переехавши мост на Ворскле, Савватий обернулся лицом к Полтаве и, казалось, искал глазами беленькой хатки, давно уже спрятавшейся в зелени. «Уже и не видно ей», — проговорил он тихо и стал смотреть на окунувшуюся в зелени Полтаву. Долго смотрел на домик, лепившийся на горе около собора, и на каменную башенку, Бог знает для чего поставленную против заветного домика на другой стороне оврага. Многое напомнила эта полуразрушенная башенка моему грустному герою. Он, глядя на нее, вспоминал то время, когда он по воскресеньям приходил из гимназии и часто прятался в ней, играя в жмурки с резвою белокурою внучкой Гапки Настусею, теперь матерью такого прекрасного белокурого ребенка, как сама была когда-то.

Хороша была тринадцатилетняя Настуся, очень хороша, особенно по воскресеньям, когда приходила она к своей бабушке на целый день гостить. Повяжет, бывало, на головку красную ленту, натывает за ленту разных цветов, а коли черешни поспели, то и черешень, и чуть свет бежит к бабушке. Сядет себе, как взрослая, под хатю и задумается. О чем же могло бы задумываться тринадцатилетнее дитя? А оно задумывалось о том, что скоро ли паньичи встанут и пойдут, и она пойдет с ними. «А как выйдут из церкви та пообедают, и начнем играть в жмурки, я спрячуся у той коморке, что на горе. А Ватя прибежит, да и найдет меня». При этом она краснела краснее своей ленты, цветов и черешень и, забывшись, вскрикивала: «Ах!»

— Чого ты там ахаеш? — спрашивала Гапка, высунувши голову в окно.

— Жаба, бабо.

— Вона не кусає, тилько як на ногу скочить, то борóдавка буде. Иды в хату, ты змерзла!

— Ни, бабо, я не змерзла. — И она оставалась под хатю и снова задумывалась.

Вате минуло уже шестнадцать, а Настусе пятнадцать лет, когда бывало, спрячутся они от Зоси куда-нибудь в бурьян или убегут аж за Ворскло, насобирают разных-разных цветов и сядут под

дубом. Ватя сплетет венок из цветов, положит его на головку Настуси и смотрит на нее целый день до самого вечера. Потом возьмутся себе за руки и придут домой, и никто их не спросит, где были и что делали. Зося разве иногда скажет: «Ишь, убежали, а меня не взяли с собою!» Прошел еще год, и детская любовь приняла уже характер не детский. Уже Настуся была стройная, прекрасная шестнадцатилетняя девушка, а Ватя 17-летний красавец юноша. Он долго уже по ночам не мог заснуть, Настуся тоже. Она под горою, у себя в садике, до полуночи пела:

Зийшла зоря извечора,
Не назорилася.

.....

А он, стоя на горе, до полуночи слушал, как пела Настуся. Вскоре началось трепетное пожимание рук, поцелуи на лету и продолжительное вечернее стояние под вербою. Правда, что эти свидания оканчивались только продолжительным поцелуем. Ватя в этом отношении был настоящий рыцарь... Но сатана силен, и Бог знает, чем бы могли кончиться ночные стояния под вербою, если бы Ватя не сдал отлично своего экзамена и скоропостижно не уехал в Киев.

То была его первая и, можно сказать, последняя любовь.

В Киеве, бывало, гуляя перед вечером в саду по большой аллее, встретит он красавицу — так холодно и обдаст его, и он, ошеломленный, долго стоял на одном месте и смотрел на мелькавшую в толпе красавицу и, придя в себя, шептал: «Не пара». И отводил глаза на освещенную заходящим солнцем панораму старого Киева. Потом спускался вниз по террасе и выходил на Крещатик. Приходил домой, зажигал свечу и садился за какую-нибудь энциклопедию и окунал в чернила вместе с пером и светлый пламенник своей одинокой юности.

У Зоси точно так же рано проснулася эта страстишка к Олимпиаде Карловне, уже взрослой дочери инспектора, и точно так же была прервана внезапным его отъездом в дворянский полк. Но когда он, стройный, прекрасный юноша, надел гвардейский мундир, он вдруг почувствовал в себе таинственную силу магнита для прекрасных очей. И он не останавливался в священном трепете при виде женской красоты, а прекрасные его глаза покрывались мутною влагою или горели огнем бешеного тигренка, и он, была ли то девушка или замужняя женщина, не задавал себе вопроса, с какой целью, а просто начинал ухаживать, и почти всегда с успехом. Он настоящий был донжуан с зародышами еще кое-каких мерзящих человека страстишек.

По прибытии в Астрахань он в скором времени между морскими и гарнизонными офицерами прослыл хватом на все руки, т. е. плутом на все руки, но в военном словаре это тривиальное слово заменено словом «хват».

Прибывши в Астрахань, он спрятал свою Якилыну вместе с сыном в грязном переулке на *Свистуне*. А себе нанял квартиру в городе и уверил ее, что этого служба требует. А она, простосердечная, и поверила. Один только баталионный командир да его адъютант знали из формуляра, что он женатый, да еще — и то только догадывался — квартальный, потому что в вверенном ему квартале жила штабс-капитанша Сокирина. Прочая же астраханская публика и не догадывалась. А маменьки так даже смотрели на него как на приличную партию своим уже позеленевшим Катенькам и Сашенькам. Но он смотрел на все это сквозь пальцы и неистово гнул на пе. Еще неистовее пил голяком ром. А на чихирь и смотреть не хотел, называя его армянским квасом. Ко всему этому он с необыкновенным успехом являл свою, можно сказать, гениальную способность делать и не платить долги, за что нередко его величали не

Ноздревым (астраханской просвещенной публике еще не казались «Мертвые души»), а называли его просто шерамыжником, за что он нисколько не был в претензии. Счастливый темперамент! Или, лучше сказать, до чего может усовершенствовать себя человек в кругу порядочных людей!

По воскресеньям и по праздникам начал он прилежно посещать армянскую церковь и загородные армянские гульбища, где не замедлил приобрести себе не одного *матаха*, особенно между молодыми сынами богатых и старых отцов, и где после бесчисленных якшиолов и являлись картишки, и начиналася потеха, кончавшаяся почти всегда дракой, так что нередко он возвращался в город с поврежденным портретом. И после этой только неудавшейся спекуляции навещал он свою бедную Якилыну, уверяя ее, что он хотел купить для нее туркменского аргамака, привезенного из Новоп[етровского] ук[репления], сел попробовать, и вот что сделалось. Та, разумеется, верила. А он себе рапортовался больным и в ожидании, пока портрет примет настоящий вид, подрезывал на досуге карты, чему Якилына также дивилась немало. С окончанием портрета и с подрезанными картами он исчезал и в скором времени являлся опять портрет чинить. И на сей раз уверял Якилыну, что хотел для нее купить у купца NN. вятскую тройку, и вот что наделала проклятая тройка. История с портретом повторялася довольно часто, так что и простодушная Якилына начала подозревать что-то нехорошее.

Зимой 1847 [г.] не являлся он месяца три к Якилыне с поврежденным портретом. Она прождала еще месяц — нет, еще месяц — нет, нет и нет. Она уже думала, что, может быть, его кони убили, Боже сохрани, как в одно прекрасное утро явился к ней вестовой с главной гауптвахты и сказал ей, что «его благородие приказали вам, чтобы ваше благородие пожаловали им двугривенный или вещами что-нибудь».

— Какое благородие? — воскликнула она в ужасе.

— Его благородие штабс-капитан Зосим Никифорович.

— Де вин?

Вестовой сначала улыбнулся. Но как сам был малороссиян[ин], то она без большого труда поняла, в чем дело, и наскоро причепурилась. Взяла за руку Грыця и сказала вестовому: «Ходимо».

Бедная, ты положила конец и следствию, и суду, сама того не подозревая. Он содержался на гауптвахте и судился за разные преступления, следствием почти не доказанные, а ты своим явлением все кончила. Ты при всем карауле назвала его своим мужем, тогда как всему городу известно, что он зять армянина NN., и всему городу также известно, что прекрасная армяночка позволила себя похитить и обвенчаться на ней тайно в Черном Яру. Что он, как истинный герой романа, и совершил беспрекословно, воспламеняясь не столько прекрасными глазками своей возлюбленной, сколько червончиками ее почтенного родителя. Честолюбивый армянин охотно простил, но насчет прилагательного лаконически сказал: «Чекá».

«Нехорошо! — подумал мой рыцарь. — Маненько дал маху. Надо будет зайти с другого боку». — И, придя домой, принялся сначала ругать, а потом уговаривать и просить свою армяночку, чтобы она обокрала отца, что для ее же счастья это необходимо сделать, что он, старый скряга, умрет с голоду, а деньги кухарка украдет. Но, несмотря на все доводы о необходимости обокрасть отца, армяночка решительно сказала: «Чекá».

— А чека, так чека. Я приму свои меры. — И он выгнал свою армяночку из квартиры, снявши с

нее салоп и дорогие бусы. За потери и убытки, как сам он выразился.

После этой катастрофы он начал умножать свои мерзости паче всякого описания и дошел, наконец, до того, что его [посадили] на сохранение в гауптвахту.

Пока доказано было законным порядком, что он хват на все руки и вдобавок двоеженец, и пока он находился на сохранении, бедная Якилына ходила в поденщицы облу чистить и ввечеру приносила своему заключенному мужу заработанный гривенничек.

Пока определяется достойное возмездие моему рыцарю, я перенесу мой нехитростный рассказ в неисходимые киргизские степи.

— Отчего же это так премудро, Господи Боже мой милосердый, Ты устроил все на свете? Не придумаю, не пригадаю! В один день и даже, может быть, и час они узрели свет Божий животворящий, а теперь Зося уже капитанского рангу, а Ватю только вчера из школы выпустили. И не придумаю и не пригадаю, как это воно так все на свете Божиим творится?

В тот самый день, как проводили Ватю из Переяслава, в тот самый день Прасковья Тарасовна задала себе такой вопрос и много дней спустя его себе задавала. Но, не находя в себе самой ответа на свой хитрый вопрос, подумала было сначала обратиться к Никифору Федоровичу, но, подумавши, отдумала. К Карлу Осиповичу разве? И тоже отдумала. «Он немец, — думала она, — так что-нибудь непутное и скажет по своей немецкой натуре. Степан Мартынович разве? Да нет! Он не вразумит меня. А может, и вразумит. Ведь я просто дура. А он по крайней мере книги читал, то может, что и вычитал. Не знаю, придет ли он ввечеру к нам или нет? Или самой сходить к нему? Так, будто бы пасику посмотреть».

И, повязавши хорошую хустку на голову, а в другую завязавши десяток бубличков, отправилась за Альту.

Проходя мимо школы, она остановилась и послушала, как школяры учатся. А уходя, шепотом говорила:

— Бедные дети! Им бы надо хоть обед когда-нибудь сделать.

Степан Мартынович, увидя в окно свою дорогую посетительницу, выбежал из школы с непокровенною главою, только в белом полотняном халате, и в два прыжка нагнал ее у входа в сад и пасику, сказавши:

— Приветствую вас в нашей палестине...

— Ах, как вы мене перепугали!

— Смиренно прошу [прощения] прогрешений моих, — говорил Степан Мартынович, отворяя калитку в сад.

— А я сегодня сижу себе дома одна как палец. Никифор Федорович в пасике, а Марина огородину поле. Так я сижу себе да й думаю: пойду-ка я посмотрю, что там за сад и за пасика у Степана Мартыновича, да и его таки проведаю. Он что-то нас цурается.

— И подумать [про] меня, Боже сохрани, такое грешное! Да ведь я и вчера, и позавчера, и всякий вечер у вас сижу. Ну, и сегодня зайду, даст Бог управлюсь.

— А я, как не вижу вас целый день, то мне кажется, что целый год.

С этими словами они вошли в курень, или под навес из древесных ветвей и соломы. В курене, на земле сверх соломы, раскинуто белое рядно и подушка. То было смиренное ложе Степана Мартыновича. Около ложа стоял глиняный глечик с водою и такой же кухоль. А из-под подушки выглядывал угол неизменной «Энеиды». Прасковья Тарасовна с минуту посмотрела на все это и с участием сказала:

— Прекрасно, все прекрасно, ничего больше и сказать. Только вот что, — сказала она, садясь на лежащий пустой улей. — Зачем вы книгу бросаете в пасике? Ну, Боже сохрани, худого человека: придет да и украдет, а книга-то, сами знаете, дорогая.

— Дорогая, дорогая книга, Прасковья Тарасовна. Она мое единственное назидание, пошли, Господи, Царствие Твое незлобивой душе нашего благодетеля Ивана Петровича.

— Мы думаем с Никифором Федоровичем, даст Бог дождать, после *Семена* служить панихиду по Иване Петровиче и обед тоже для нищей братии. Так нельзя ли вам будет с вашими школярами «Со святыми упокой» петь при панихиде?

— Можно, и паче можно.

— Как это у вас все скоро выросло. Смотрите, какая липа, просто прекрасная!

— Да, эта липа будет высокая. Но все-таки не будет такая, как я видел за Днепром около самых ворот Мошнинского монастыря. Так на той липе брат вратарь и ложе себе соорудил на случай от мух прятаться.

— Да, я думаю, там, за Днепром, все такие липы?

— Нет, не все, есть и меньшей меры.

— А не читали ли вы в какой-нибудь книге о такой притче, какая теперь случилась с нашими Зосей и Ватей? — И рассказала ему свои недоразумения насчет карьеры Зоси и Вати и прибавила: — Я думаю, что Зося генералом будет, а бедный Ватя и капитанского рангу не опануе! Отчего это, не знаете, не читали?

— Не знаю, не читал, — с минуту подумавши, ответил Степан Мартынович и, еще минуту спустя, прибавил:

— Думаю, об этом пространно есть писано у Ефрема Сирина. Или же у Юстина Философа. Но у Тита Ливия нет.

— Оставайтесь здоровы, — сказала Прасковья Тарасовна, быстро поднявшись с улья.

— Вот я вам гостинчика принесла, да заговорила с вами и забыла. — Говоря это, она торопливо вывязывала бублички из хустки.

— Минуточку б подождали, я достал бы вам своего медку стильнычок.

— Благодарствую, другим разом, — уже за калиткою проговорила Прасковья Тарасовна, а Степан Мартынович намеревался еще только приподымать правую ногу, чтобы проводить ее хоть до Альты.

В продолжение свидания в пасике школа как будто опустела и стояла себе, как самая обыкновенная хата. В это непродолжительное время школяры переговаривались между собою

шепотом о собственных интересах, но когда часовой школяр проговорил: «Двери ада разверзаются» — значит, в пасике калитка отворяется, — то при этом возгласе все разом загудели, как будто испуганный рой пчел. Прасковья Тарасовна, проходя мимо школы, уже не останавливалась, а на ходу проговорила: «Бедные дети! Как они прекрасно читают. А он, я думаю, их, бедных, еще бьет — настоящий вовкулака».

— Если не удалось проводить до Альты, то хоть човен придержу, пока она сядет в него, и перепихну на другой берег, — так говорил про себя Степан Мартынович, выходя из пасики. Но, увы! его кавалерскому намерению не суждено [было] исполниться. Прасковья Тарасовна не рассчитывала на такую неслыханную вежливость, прыгнула в челн, как приднепрянский рыбак, махнула веслом, и челн уперся уже о другой [берег] речки. Степан Мартынович только успел ахнуть и больше ничего.

Подходя к дому, Прасковья Тарасовна заметила беду Карла Осиповича и лошадь почти в мыле, а когда у такого хорошего хозяина, каков Карл Осипович, лошадь в поту, то это значит, что что-нибудь да не так. Только что она успела подумать это, как увидела из пасики скоро идущего Никифора Федоровича — только борода белая ветром развеивается, а Карл Осипович за ним в своем синем фраке с металлическими и без всякого изображения пуговицами. Завидя свою Парасковью, Никифор Федорович вскрикнул обрадованно:

— Параско! — И при этом поднял правую руку, и она ясно увидела письмо в руке и тоже вскрикнула:

— От которого?

— От Вати. Из самого Оренбурга!

Прасковья Тарасовна на минуту как бы онемела, а Карл Осипович, поздоровавшись, спросил, ни к кому собственно с вопросом не обращаясь:

— Что, месяца два будет, как выехал?

— На Пречисту буде сим недиль! — ответила Прасковья Тарасовна.

— Скоренько, право, скоренько, — говорил он скороговоркою. — Я не думал так скоро. Хорошо, очень хорошо! — И все они взошли на крыльцо. Никифор Федорович пошел к себе в комнату за окулярами и тут же послал Марину за Степаном Мартыновичем: «Чтоб шел, скажи, скорее письмо читать. От Вати, скажи, получили!» Не успел он протереть в очках стекла и выйти на ганок, как Степан Мартынович уже переправлялся через Альту. Удивительная быстрота!

Когда все уселись по своим местам, Никифор Федорович вооружил свои старые очки окулярами, вскрыл письмо, развернул его и, легонько прокашлявшись, начал читать:

«Мои незабвенные, мои дражайшие родители!»

Голос Никифора Федоровича задрожал, и он стал жаловаться, что очки его совершенно ослабели или просто запылились, так что письмо читать нельзя, почему он и передал его Карлу Осиповичу, прося прочитать неторопко. Карл Осипович в свою очередь вооружился очками и, вместо того чтобы кашлянуть, он понюхал табаку и начал: «Мои незабвенные, мои дражайшие родители!» Никифор Федорович затаил дыхание, а Прасковья Тарасовна превратилась вся в слух и даже слез не утирала. Карл Осипович продолжал:

«Целую заочно ваши добродетельные руки и молю Бога-жизнедавца, да продлит он вашу

драгоценную для меня жизнь. В продолжение дороги и здесь на месте я постоянно, слава Богу, пользуюсь хорошим здоровьем, только все еще как-то чудно, ни к кому и ни к чему еще не присмотрелся. Еще и недели не прошло со дня пребывания моего здесь. Простите мне великодушно, мои незабвенные родители: я хотел было писать вам на другой же день, но за хлопотами никак не успел. Нужно было явиться по начальству, то то, то се, так неделя и пролетела. Теперь же я, слава Богу, поуспокоился, нанял себе маленькую, о двух комнатах, квартиру, как раз против госпиталя, в Старой Слободке. Вчера я был дежурным, а сегодня совершенно свободный день, и, чтоб не потратить его всуе, я взялся за перо и думал описать вам мимолетное мое путешествие, но как подумал хорошенько, то оказалось, что и писать нечего, что все пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же само и в памяти моей мелькает, ни одной черты не могу схватить хорошенько. Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи. Переправясь через Волгу, я в Самаре только пообедал и сейчас же выехал. И после волжских прекрасных берегов передо мною раскрылась степь, настоящая калмыцкая степь. Первая станция от Самары была для меня тяжела, вторая легче, и глаза мои начали осваиваться с бесконечными равнинами.

Первые три переезда показывались еще кое-где вдали неправильными рядами темные кустарники в степи, по берегам речки Сакмары. Наконец, и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только — и то местах в трех — я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы, а около их багажа шляются в четырехугольных красных шапочках, наподобие кучерских, безобразные калмычки с грудными детьми на плечах, совершенно цыганки, только что не вороват. Проехавши город Бузулук, начинают на горизонте в тумане показываться плоские возвышенности Общего Сырта. И, любясь этим величественным горизонтом, [я] незаметно въехал в Татищеву крепость. Я отдал подорожную смотрителю, а сам остался на улице, и, пока переменяли лошадей, я припоминал «Капитанскую дочку», и мне как живой представился грозный Пугач в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне. Совершенно наш старинный палач. Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание называется здесь караван-сарай, недавно воздвигнутое по рисунку А Брюллова. Проехавши караван-сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие Сакмарские ворота, в [которые] я и въехал в Оренбург.

На мой взгляд, в физиономии Оренбурга есть что-то антипатичное, но наружность иногда обманчива бывает. И я лучше сделаю, если не буду вам писать о нем, пока к нему не присмотрюсь. Я намерен вести здесь дневник и посылать к вам по листочку каждую неделю; вы и будете видеть меня как бы перед собою, прочитывая мои листочки. А пока простите меня, что я не пишу вам о себе подробнее. Поклонитесь Карлу Осиповичу и скажите Степану Мартыновичу, что я люблю его великую душу всем сердцем моим и всем помышлением моим. Целую ваши благодатные руки, мои незабвенные, мои бесценные родители. Не забывайте вечно любящего вас сына Ватю».

Прочитавши письмо, Карл Осипович бережно сложил и, подавая его Никифору Федоровичу, проговорил: «Прекрасный молодой человек!» А тот принял молча письмо, поцеловал его, положил в лежащую на столе летопись Конисского и молча сошел с крылечка. Прасковья Тарасовна молилась Богу и плакала. А Степан Мартынович, глубоко вздохнувши, призадумался. И, надумавшись досыта, встал со скамьи и мигнул глазом Карлу Осиповичу, давая знать, что он что-то важное выдумал. А, отведши его в сторону, говорил ему шепотом:

— Я по себе знаю, как я странствовал в Полтаву, как трудно на чужой стороне без грошей. А он теперь, я добре знаю, что нуждается. А что он не просит, то это ничего. Я прошлого года

продал немно[го] воску и меду московским купцам. Школа меня кормит и одевает, а деньги гниют, как талант, в землю зарытый. Пошлю я ему мое достояние. Как вы скажете, послать?

— Нет, подождите, — говорил тоже шепотом Карл Осипович. — Если у вас есть лежащие деньги, то на них можно найти лучшую дырочку.

Они расстались.

Переправившись через Альту, Степан Мартынович не пошел в школу, чтобы школяры не помешали ему думать, какую дырочку нашел Карл Осипович его деньгам. Думал он лежа, и сидя, и стоя в своей пасике до самого вечера. И все-таки не мог придумать, что бы это за дырочка могла быть. Дело в том, что Карл Осипович получил из Астрахани два письма в одном конверте: одно на свое имя, а другое на имя сотника Сокиры, если он жив еще, или же на имя Прасковьи Тарасовны.

Зося в письме своем Карлу Осиповичу описывал в общих выражениях свое горестное положение и просил, если старики здравствуют, то чтобы он улучил добрый час, вручил бы им письмо и сам ходатайствовал о добром их к нему расположении, то есть просил бы о присылке денег. В случае же отказа он просто в петлю полезет.

Карл Осипович хорошо знал, что письмо Зоси не понравится Никифору Федоровичу, и потому раздумал его даже и показывать ему, а прочесть его одной Прасковье Тарасовне и Степану Мартыновичу и общими силами сложиться и послать на выручку бедному Зосе. На эту-то дырочку и намекал он недогадливому Степану Мартыновичу.

Случай не замедлил представиться прочесть письмо Зоси наедине, именно, когда Никифор Федорович по обыкновению отдыхал в пасике после обеда. Письмо было такого нехитрого содержания:

«Великодушные мои родители!

Четыре года я находился в плену у немилосердых горцев и, наконец, щедротами великодушных людей освобожден из оногo и теперь нахожусь в г. Астрахани в крайнем положении. По случаю расстроенного на службе здоровья, я хлопочу теперь себе отставку хоть с третью жалованья. А пока не оставьте вашего покорного сына, пришлите мне хоть сто рублей пока, за что буду вам вечно благодарен. Остаюсь ваш несчастный сын Зосим Сокирин. Карл Осипович знает мой адрес».

Прасковья Тарасовна не дослушала письма, ахнула и грохнулась на пол/ Карл Осипович засуетился около, а педагог мой тоже ахнул при виде сей трагедии, да так и остался с разинутым ртом до тех пор, пока не очнулась Прасковья Тарасовна. Простак, он совершенно незнаком был с сими женскими слабостями. Придя в себя, Прасковья Тарасовна воскликнула: «Зосю мой, дитя мое!» — и снова упала без чувств. Педагог начал было делать проект на улыбку, но не успел и остался при прежнем выражении. Прасковья Тарасовна снова пришла в себя и попросила воды, прошептала что-то и зарыдала, бедная, как малое дитя. К этому времени Никифор Федорович, отдохнувши в пасике, пришел в светлицу, чтобы попросить напиться у Прасковьи Тарасовны яблучного кваску, который они на прошлой неделе только почали. Но, увидя сидящую на полу и неутешно рыдающую свою Прасковию, спросил у предстоящих о причине такого горького рыдания. Карл Осипович рассказал ему несколькими

словами содержание всей трагедии и подал ему роковое письмо, а тот, вооружившись очками, медленно и внимательно прочитал его и так же медленно сложил и, подавая Карлу Осиповичу, сказал: «Бреше!», — но так тихо, что Прасковья Тарасовна не могла слышать. Карл Осипович был почти такого же мнения, тем более, что Зося в письме своем к нему ни слова не говорит о своем плене у бесчеловечных горцев. Но на сей раз не высказал своего мнения, а только почесал нос и понюхал табуку. «Неужли он, доннер-веттер, вздумал употребить его, почтенного старца, орудием своей гнусной лжи?» — так или почти так думал простодушный добряк.

Между тем Прасковья Тарасовна начала понемногу утихать и уже не плакала, а только всхлипывала. Окружающие, как могли, утешали ее. А чтоб совершенно ее успокоить, Никифор Федорович вынул из своей шкатулы стокарбованную ассигнацию и вручил ее неутешной своей Прасковии, сказавши:

— На, пошли ему.

— Мой голубе сизый, — говорила Прасковья Тарасовна, принимая деньги, — напиши ты ему хоть одно слово, обрадуй ты его, бесталанного!

— Пиши сама.

— Да как же я буду писать, коли я и писать не умею?

— Как хочешь, а я писать не буду.

— Разве вы, Карл Осипович, напишете?

— Попросите вот Степана Мартыновича, пускай они напишут; у меня нехороший почерк.

— Вы его учитель, Степан Мартынович. Напишите, голубчику, хоть единое словечко, я за тебе денно и ночью буду Богу молиться и пистри на халат возьму, а то вы все в полотняному ходите.

Степан Мартынович изъявил согласие писать. А Никифор Федорович достал из той же шкатулы перо, чернильницу и бумагу и, положив все это на стол, вышел из светлицы вместе с Карлом Осиповичем.

Оставшись вдвоем в светлице, Степан Мартынович сел за стол, положил перед собою бумагу, взял перо в руку и принял такую позу, какую обыкновенно дают живописцы сочинителям, когда изображают их бессмертные лики, осененные сапфирными крылами гения творчества. Принявши такую позу, он просил диктовать. Прасковья Тарасовна села тоже за стол против писателя и бессознательно приняла позу самой скорбной матери.

— Пишите так, — сквозь слезы проговорила она. — «Зосю мой, дитя мое единое!»

Степан Мартынович долго, долго думал и, наконец, написал:

«Единственный сын мой, милостивый государь Зосим Никифорович!»

Он очень хорошо знал, что неприлично писать такие слова, какие будет говорить неграмотная баба. Написавши титул, он спросил, что писать далее.

— Далее пишите так: «Орле мой, Зосю! Посылаю тебе сто карбованцев».

Он, разумеется, и эту, и все последующие фразы писал по-своему. Письмо вышло довольно оригинальное и нельзя сказать краткое, потому что оно кончилось тогда только, когда исписан был весь лист кругом, а другого листа боялся просить Прасковья Тарасовна у Никифора Федоровича.

Когда громогласно и не борзяся было прочитано письмо, то Прасковья Тарасовна подумала: «А я-то, дура, мелю себе, что на язык попало, а вот оно как надобно было говорить». И она посмотрела на писателя с благоговением.

К вечеру было все кончено, письмо и деньги были вручены Карлу Осиповичу с просьбою подать назавтра же на почту. Карл Осипович, принявши комиссию сию, простился с хозяевами и, садясь в свою беду, подозвал к себе Степана Мартыновича и сказал ему на ухо:

— Ваши рубли свободны: дырочка заткнута.

Хлынул своего буланого и был таков. А Степан Мартынович побрел в свою школу, недоумевая, что это за дырочка проклятая. А хитрый немец не хочет объясниться просто.

Деньги были получены в Астрахани как нельзя более кстати, потому что бедная Якилына занемогла лихорадкой и лежала в городской больнице, следовательно, дневное пропитание для моего героя прекратилось. И вдруг как манна с неба упала. Ему выдавали, как арестанту, понемногу. Но и за этим немногим стали втихомолку наведываться товарищи и прорицали ему, не как прежде — *хламиду поругания*, но совершенную свободу и полное удовлетворение. Этого уж он и сам не понимал. Под словом «совершенная свобода» он разумел *волчий паспорт*. Но «полное удовлетворение»? Как ни бился, а не мог разжевать.

Через месяц после этого происшествия хуторяне мои были обрадованы первым недельным листком, полученным из Оренбурга. Ватя назвал свой недельный дневник, в подражание своему благодетелю Ивану Петровичу Котляревскому, «Оренбургская муха». Хуторяне мои его так же называли, например: «К нам прилетела „Оренбургская муха“», или «Мы ожидаем „Оренбургскую муху“» и т. д. Покойного Котляревского «Полтавская муха» была настоящая пчела, а это было только невинное подражание в одном названии. Эта муха ни на какую пошлость или низость людскую не [на]падала, подобно полтавской; это было просто описание вседневной, прозаической жизни честного и скромного молодого человека. А для хуторян моих это было выше всякой поэзии. Прочитывая недельный отчет своего милого Вати, они с любовью следили каждое его движение. Они видят его, как он идет по большой улице и ему встречаются эполеты да каски, каски да эполеты, козаки да солдаты, солдаты да козаки, даже бабы ходят по улице в солдатских шинелях, чего он не видал даже на Красныце в Киеве. Или видят его, как он сидит на горе и смотрит на Урал, и на рощу за Уралом, и за рощей на меновой двор, а за двором степь и степь, хоть и не смотри, далее ничего не увидишь, а он все смотрит да о чем-то думает. И видят его, как он, скучный, возвращается к себе на квартиру, молится Богу и ложится спать. А завтра рано встает, надевает мундир, идет дежурить в госпиталь. Все, совершенно все видят. Даже и то, как ему делает словесный выговор главный доктор за то, что у него на мундире одна пуговица расстегнулась, причем Прасковья Тарасовна говорила, что у этих главных хоть ангелом будь, а все-таки без выговору не обойдется.

«Оренбургская муха» исправно являлась на хутор каждую неделю. И чем далее, тем однообразнее. Наконец, до того дошло, что все дни недели были похожи точь-в-точь на понедельник; воскресенье только и отличалось от понедельника тем (если не был дежурным), что был в обедне. Старики с наслаждением читали «Муху», никак не подозревая ее убийственного однообразного содержания.

Наконец, дошло до того, что он открыто начал жаловаться на скуку и однообразие. «Хоть бы на гауптвахту хоть раз посадили для разнообразия, — писал он, — а то и того нет». На оренбургское общество смотрел он как-то неприязненно, а дам высшего полета называл просто безграмотными кокетками. Словом, он начинал хандрить. Отправляясь в Оренбургский край, он думал было на досуге приготовить защищать диссертацию на степень доктора медицины и хирургии. Но вскоре им овладела такая тоска, что он готов был забыть и то, что знал, а о обширнейших знаниях и думать было нечего.

Более полутора года длился для него этот нравственный застой. Один вид Оренбурга наводил на него сон. Думал было он просить перевода, ссылаясь на климат, но от основания Оренбурга не было еще человека, который бы жаловался на его климат. Климат отличнейший, хотя лук и прочие огородные овощи и не родятся. Но это, я думаю, больше оттого, что все это добро из Уфы получают, для кого оно необходимо. А до Уфы, заметьте, не более, не менее как 500 верст. Однажды он, скуки ради, посетил Каргалу. «Все же таки, — думал он, — село, следовательно, не без зелени». И представьте его разочарование: дома, ворота да мечети. А зелени только и есть, что крапивы кусточки под забором, а вонь такая, что он не мог и чаю напиться. «Вот тебе и село! Ну, это не диво. Сказано — татарин: ему был бы кумыс да кусок сдохлой кобылятины, он и счастлив. Поедем в другую сторону». Поехал он в Неженку. Это будет по Орской дороге. Что же? И там дома да ворота, только мечетей не видно. Зато не видно и церкви. Но как день был июльский, жаркий, то он поневоле должен был изменить проект, плюнуть и возвратиться вспять, дивясь бывшему. Постучал он в тесовые ворота, ему отворила их довольно недурная собою молодка, но удивительно заспанная и грязная, несмотря на день воскресный.

— Можно у вас остановиться отдохнуть на полчаса? — спросил он.

— Мозно, для ца не мозно! — сказала она протяжно. Он взошел на двор и хотел было в избу зайти, на него из дверей пахнуло такой тухлятиной, что он только нос заткнул. На дворе расположиться совершенно было негде. Велел он своему вознице раскинуть кошомку под телегою на улице и прилег помечтать о блаженстве сельской жизни, пока лошади вздохнут. А между тем вышла к нему на улицу та самая заспанная грязная молодка и, щелкая арбузные семечки, смотрела... или, лучше сказать, ни на что не смотрела. Он повел к ней такую речь:

— А как бы ты мне, моя красавица, состряпала чего-нибудь перекусить?

— Да рази я стряпка какая?

— Ну, хоть уху, например. Ведь у вас Урал под носом, чай, рыбы пропасть?

— Нетути. Мы ефтим не занимаемся.

— Чем же вы занимаетесь?

— Бакци сеем!

— Ну, так сорви мне пару огурчиков.

— Нетути. Мы только арбузы сеем.

— Ну, а еще что сеете? Лук, например?

— Нетути. Мы лук из городу покупаем!

«Вот те на! — подумал он. — Деревня из города зеленью довольствуется».

— Что же вы еще делаете?

— Калаци стряпаем и квас творим.

— А едите что?

— Калаци с квасом, покаместь бакца поспеет.

— А потом бакчу?

— Бакцу.

— Умеренны, нечего сказать. — И он замолчал, размышляя о том, как немного нужно, чтобы сделать человека похожим на скота. А какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские! И что же? Поселяне из городу лук получают и... И он не додумал этой тирады; извозчик прервал ее, сказавши:

— Лошади, барин, отдохнули.

— А, хорошо. Закладывай, поедем.

И пока извозчик затягивал супони, он уже сидел на телеге. Через минуту только пыль взвилась и, расстилаясь по улице, заслонила и ворота, и стоящую у ворот молодку.

С тех пор он не выезжал уже из Оренбурга аж до тех пор, пока ему в одно прекрасное апрельское утро не объявили, что он командировается с транспортом на Раим.

О, как живописно описал он это апрельское утро в своем дневнике! Он живо изобразил в нем и не виданную им киргизскую степь, уподобляя ее Сахаре, и патриархальную жизнь ее обитателей, и баранту, и похищения. Словом, все, что было им прочитано: от «П[етра] И[вановича] Выжигина» даже до «Четырех стран света», решительно все припомнил.

Отправивши субботний учетверенный листок на почту, явился куда следует по службе, и на другой день поутру у Орских ворот ефрейтор скороговоркою спрашивал: «Позвольте узнать чин и фамилию и куда изволите следовать». Из воротника шинели довольно грубые вылетели слова: «Лекарь Сокира. В Орскую крепость. Подвысь! Пошел!» И тройка понеслася через форштат, мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев встацил две пушки, осаждая Оренбург.

До станции Островной он только любовался окрестностями Урала и заходил только в почтовые станции, и то, когда хотелось пить. Но, подъезжая к Островной, он вместо серой обнаженной станции увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил ямщика: «Здесь тоже оренбургские козаки живут?»

— Тоже, ваше благородие, только что хохлы.

Он легонько вздрогнул.

— А почтовая станция здесь?

— Дальше, в Озерной.

— Там тоже хохлы живут?

— Нет-с, наши русские.

Подъезжая ближе к селу, ему, действительно, представилась малороссийская слобода. Те же вербы зеленые, и те же беленькие в зелени хаты, и та же девочка в плахте и полевых цветах гонит корову. Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину.

У первой хаты он велел остановиться и спросил у сидящего на призбе усача, можно ли будет ему переночевать у них?

— Можна, чому не можна. Мы добрым людям ради.

Он отпустил ямщика и остался ночевать.

Здесь он впервые в Оренбургском крае отвел свою душу родною беседою. А чтобы больше оживить несловоохотного (как и вообще земляки мои) хозяина, то он спросил, чи есть у них шинк?

— Шинку то у нас, признаться, нема, а так люды добри держать про случай.

Он послал за водкою, попотчевал хозяина и хозяйку. А маленькому Ивасеви дал кусочек сахару.

Хозяин стал говорливее, хозяйка проворнее заходила около печки с чаплиею. Только один Ивась стоял, воткнувши в рот пальцы вместе с сахаром, и исподлобья посматривал на гостя.

Не замедлили цыплята закричать за хатою и также не замедлили явиться на столе с парюю свежепросольных огурцов к услугам гостя.

— Закушуйте, будьте ласкови, — говорила хозяйка, ставя на стол цыплята. — А я тым часом побижу до Домахи, чи не позычу з 10 яець, а то в нас, признаться, вси выйшлы.

И она проворно вышла из хаты.

На другой день поутру хозяин нанял ему пару лошадей до станции, а догадливая хозяйка поднесла ему в складне на дорогу пару цыплят жареных, 10 яиц и столько же свежепросольных огурцов. Принимая все это, он спросил, что он им должен за все.

— Та, признаться, нам бы ничего не треба. Та думка та, що треба б дытыни чобитки купить.

Он подал ей полтинник.

— Господь з вами, та ему и за гривеннычок Вакула пошие.

— Ну, там соби як знаешь, — сказал он и простился с своими гостеприимными земляками.

Переночевал он еще в Губерле (предпоследняя станция перед Орской крепостью), собственно для того, чтобы полюбоваться на другой день Губерлинскими горами. На другой день перед вечером он был уже в виду Орской крепости.

Вот как он рассказывает в своей «Мухе» впечатление, произведенное видом этой крепости.

«29 апреля. До 12 часов я гулял в губерлинской роще и любовался окружающими ее горами, чистой речечкой Губерлей, прорезывающей рощу и извивающейся около самых козачьих хат. Пообедавши остатками подарка моей догадливой землячки, я оставил живописную Губерлю. Несколько часов подымался я извилистою дорогою на Губерлинские горы. У памятника, поставленного в горах, на дороге, на память какого-то трагического происшествия, я напился прекраснейшей родниковой воды. Поднявшись на горы, открылась плоская однообразная пустыня. А среди пустыни торчит одинокая будочка и около нее высокий шест, обернутый соломой. Это козачий пикет. Проехавши пикет, я начал спускаться по плоской наклонности к станции Подгорной. Переменивши лошадей, я подымался часа два на плоскую возвышенность. С этой возвышенности открылась мне душу леденящая пустыня. Спустя минуту после тягостного впечатления, я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное красно-бурою лентою.

— А вот и Орская белеет, — сказал ямщик, как бы про себя.

— Так вот она, знаменитая Орская крепость! — почти проговорил я, и мне сделалось грустно, невыносимо грустно, как будто меня Бог знает какое несчастье ожидало в этой крепости. А страшная пустыня, ее окружающая, казалась мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо. В Губерле я был совершенно счастлив, вспоминал вас, мои незабвенные, воображал себе, как Степан Мартынович читает Тита Ливия под липою, а батюшка, слушая его, делает иногда свои замечания на римского витию-историка. И вдруг такая перемена! Неужели так сильно действует декорация на воображение наше? Выходит, что так. Подъезжая ближе к крепости, я думал (странная дума), поют ли песни в этой крепости. И готов был бог знает что прозакладывать, что не поют. При такой декорации возможно только мертвое молчание, прерываемое тяжелыми вздохами, а не звучными песнями. Подвигаясь ближе и ближе к широкому, едва зеленью подернутому лугу, я ясно уже мог различать крепость: белое пятнышко — это была небольшая каменная церковь на горе, а красно-бурая лента — это были крыши казенных зданий, как-то: казарм, цейхгаузов и прочая. Переехавши по деревянному, на весьма жидких сваях, мостику, мы очутились в крепости. Это обширная площадь, окруженная с трех сторон каналом аршина в три шириною да валом с соразмерною вышиною, а с четвертой стороны — Уралом. Вот вам и крепость. Недаром ее киргизы называют Яманкала. По-моему, это самое приличное ей название. И на месте этой Яманкалы предполагалось когда-то основать областной город! Хорош был бы город! Хотя, правду сказать, и Оренбург малым чем выигрывает в отношении местности. Вот что оживляло первый план этой сонной картины: толпа клейменных колодников, исправлявших дорогу для приезда корпусного командира, а ближе к казармам на площади маршировали солдаты. Проезжая тихо мимо марширующих солдат, мне резко бросился в глаза один из них: высокий, стройный и — странная игра природы — чрезвычайно похож на брата Зосю. Меня так поразило это сходство, что я целую ночь не мог заснуть, создавая разные самые несбыточные истории насчет брата. Да еще вонючая татарская лачуга, отведенная мне в виде квартиры, окончательно разогнала мой сон.

30 апреля. С больною головою явился я сегодня к коменданту, а от него пошел познакомиться к собрату по науке. Собрат по науке показался мне чем-то вроде жердели спелой и после обоюдных приветствий сказал мне, в виде комплимента, что я чрезвычайно похож на одного несчастного, недавно сюда присланного из Астрахани. Я спросил его, что значит слово «несчастный», он пояснил мне. И я, простившись с ним, пошел искать баталионную канцелярию. В канцелярии у писаря спросил я, нет ли в их баталионе недавно присланного рядового Зосима Сокирина. Писарь отвечал: «Есть» — и, взглянув на меня в лицо, прибавил: «Зосим Никифорович». — «Можно ли мне прочесть его конфирмацию?» — «Можно-с». И я прочитал вот что:

«По конфиркации военного суда, за разные противозаконные и безнравственные поступки, пишывается в Отдельный Оренбургский корпус рядовым Зосим Сокирин, с выслугою».

— Нельзя ли мне видеть этого рядового? — спросил я писаря.

— Можно-с. Извольте следовать за мною.

И услужливый писарь привел меня в казармы. Я не описываю вам нечистоты и смрада, возмущающих душу и вечно сущих во всех казармах. Не читайте маменьке, ради Бога, этого письма: она, бедная, не перенесет этого тяжкого удара.

На нарах в толстой грязной рубахе сидел Зося и, положив голову на колени, как титан Флаксмана, пел какую-то солдатскую нескромную песню. Увидя меня, он сконфузился, но сейчас же оправился и заговорил:

— Это ты, брат Ватя?

— Я.

— А это я, — сказал он, вытягиваясь передо мною во фронт.

Меня в трепет привело его непритворное равнодушие. Я был ошеломлен его ответом и движением и долго не мог сказать ему ни слова, а он все стоял передо мною навтыжку, как бы издеваясь надо мною. Наконец, я собрался с духом, спросил его, нужно ли ему чего-нибудь?

— Нужно, — ответил он, не переменяя позиции.

— Что же тебе нужно?

— Деньги!

— Но я много не могу предложить.

— Сколько можешь.

Я дал ему 10-тирублевый билет. «Спасибо, брат», — сказал он, принимая деньги, и потом прибавил: «Мы ей протрем глаза». Я, уходя из казарм, просил его, чтобы он заходил ко мне в свободное время, пока я уйду в степь.

Бывало мне иногда грустно, тяжело грустно, но такой гнетущей грусти я никогда еще не испытывал. Мне казалось, что я видел Зося во сне, что на самом деле такое превращение невозможно в человеке. Такое помертвление всего человеческого. Придя на квартиру, я посмотрел свой бумажник и, не находя 10 рублей, убедился, что это действительно Зося. Боже мой! Что же тебя так страшно превратило? Неужели воспитание? Нет, воспитание скорее ничего не сделает из человека или только опошлит его, но превратить его в грубое животное никакое воспитание не в силах.

Что же, наконец, довело тебя до этого жалкого состояния, мой бедный Зося?

И я не мог в себе найти ответа».

Во все остальные дни пребывания своего в Орской крепости в дневнике Вати ничего интересного не было записано. Транспорт собирался в крепость и готовился к 12 мая выступить в степь. Следовательно, кроме башкирцев, телег, верблюдов, Козаков, солдат, он

ничего больше не видел, а виденное им в эти дни весьма неинтересно, особенно на бумаге. Брат навестил его только один раз с каким-то пьяным офицером, с которым он был на ты. Просил у него денег, сначала 100 рублей, потом 50, потом 25 и, наконец, 10. Десять он обещал дать ему завтра, когда он отрезвится. Он божился ему, что он совершенно трезвый. Товарищ даже его честью ручался, что у Зосима росинки во рту не было, а не то, чтобы... Видя недействительность ручательства благороднейшего малого, он попросил у него целковый на выпивку, в чем ему Ватя благоразумно не отказал. А иначе он мог бы довести пьяного зверя до неистовства, а там недалеко и до полиции; одним словом, заключение визита могло выйти самое сценическое.

Взявши целковый, он ловко щелкнул пальцем, проговоря: «Живем!» — и, сделав налево кругом, вышел из комнаты.

— Чудак, а благороднейший малый! — говорил его товарищ, раскланиваясь с Ватей. Это было последнее свидание его с братом в Орской крепости.

Спустя дня два после этого грустного свидания, Ватя слушал за Орью напутственный молебен, а через полчаса огромной темною массою транспорт двинулся в степь, подымая серые облака пыли.

Спустя еще полчаса, из-за Ори начали возвращаться в крепость провожавшие транспорт, но между ими не видно было «чудака, но благороднейшего малого». Ватя бесприветный исчезал в облаках пыли.

В последнем письме из Орской крепости Ватя писал своим хуторянам, чтоб они долго не ждали от него «Мухи», что он выходит в степь, а в походе, и при таком огромном транспорте, ему, может быть, некогда будет и подумать о письме. «А когда возвращуся из Раима, тогда, даст Бог, опишу вам все, мною виденное, с возможными подробностями». Но случилось так, что он должен был в Раимском укреплении сменить лекаря N. и остаться вместо его в степи в продолжение четырех лет.

«Мои милые, мои незабвенные хуторяне!

Я обещался вам описать подробно свой поход по возвращении в Оренбург. Но мне суждено туда возвратиться не скоро: я сменил здесь товарища и остануся в укреплении, пока суждено будет кому-нибудь сменить или заменить меня. А пока это случится, я обещаю вам по-прежнему посылать мою уже «Раимскую муху» с каждою почтою. Но так как почта приходит и от нас отходит не в определенное время, то вы и не беспокойтесь о неаккуратном появлении моей «Мухи» на вашем благодатном хуторе.

12 мая транспорт, в том числе 3000 телег и 1000 верблюдов, выступил из Орской крепости. Первый переход (с непривычки, может быть) я ничего не мог видеть и слышать, кроме облака пыли, телег, башкирцев, верблюдов и полуобнаженных верблюдовожатых киргизов. Словом, первый переход пройден был быстро и незаметно.

На другой день мы тронулись с восходом солнца. Утро было тихое, светлое, прекрасное. Я ехал с передовыми уральскими козаками впереди транспорта за полверсты и вполне мог предаваться своей тихой грусти и созерцанию окружающей меня природы. Это была ровная, без малейшей со всех сторон возвышенности, степь, и, как белой скатертью, ковылем покрытая необозримая степь. Чудная, но вместе и грустная картина! Ни кусточка, ни балки, совершенно ничего, кроме ковыла, да и тот стоит, не пошевелится, как окаменелый; ни

шелесту кузнечика, ни чиликанья птички, ни даже ящерица не сверкнет перед тобою своим пестреньким грациозным хребтом — все, кроме ковыла, умерщвлено. Немо все и бездыханно, только сзади тебя глухо стонет какое-то исполинское чудовище — этодвигающийся транспорт. Солнце подымалось выше и выше, степь как будто начала вздрагивать, шевелиться. Еще несколько минут — и на горизонте показались белые серебристые волны, и степь превратилась в океан-море. А боковые аванпосты начали расти, расти и мгновенно превратились в корабли под парусами. Очарование длилось недолго. Через полчаса степь приняла опять свой безотрадный, монотонный вид; только боковые козаки попарно двигались, как два огромные темные дерева. Из-за горизонта начала показываться белая тучка. Я ужасно обрадовался этому явлению: все-таки разнообразие. Начинаю любоваться ею, а она, лукавая, вдруг расплывается в воздухе, то снова вдруг покажется из-за горизонта.

— Вишь ты, собаки, что выдумали! — проговорил один козак.

— А что такое, Дий Степаныч? — спросил у него другой.

— Рази ослеп, не видишь? Степь горит!

— И всамделе горит. Вишь, собаки!

Я стал внимательнее всматриваться в горизонт и, действительно, вместо тучки увидел белые клубы дыма, быстро исчезающие в раскаленном воздухе. К полдню пахнул навстречу нам тихий ветерок, и я почувствовал уже легкий запах дыма.

Вскоре открылась серебряная лента Ори, и далеко выдавшийся к нам навстречу залив освежил воздух. И я вздохнул свободнее. И пока транспорт раскидывался своим исполинским каре вокруг залива, я уже купался в нем. Пожар был все еще впереди нас, и мы могли видеть только один дым, а пламя еще не показывалось из-за горизонта. С закатом солнца начал освещаться горизонт бледным заревом. С приближением ночи зарево краснело и к нам близилось. Из-за темной горизонтальной, чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали показываться красные струи и язычки. В транспорте все затихло, как бы ожидая чего-то необыкновенного. И, действительно, невиданная картина представилась моим изумленным очам. Все пространство, виденное мною днем, как бы расширилось и облилось огненными струями почти в параллельных направлениях. Чудная, неописанная картина! Я всю ночь просидел под своею джеломейкою и, любуясь огненной картиною, вспоминал нашего почтенного художника Павлова. Он часто мне говаривал: «Учися, учися рисовать, эта наука никакой науке не помешает». И правда, как бы теперь было кстати это прекрасное искусство.

Вблизи транспорта, на темной, едва погнутой линии и на огненном фоне, показался длинный ряд движущихся верблюжьих силуэтов. Тут мне не на шутку стало досадно, что я не умею рисовать. Верблюды двигались один за другим по косогору и исчезали в красноватом мраке, точно китайские тени. На одном из них, между горбов, сидел обнаженный киргиз и импровизировал свою однотонную, как и степь его, песню. Картина была полная. И я в изнеможении тут же, под джеломейкою, уснул. Во сне повторилась та же огненная картина с прибавлением «Содома и Гоморры» Мартена. Меня разбудил вестовой. Транспорт готов был двинуться. Я успел еще кое-как выпить стакан чаю, пока убирали мою джеломейку, сел на коня и поехал с передовыми козаками.

Мы долго ехали по обгорелой степи, и теперь-то, глядя на эти черные бесконечные равнины, я убедился, что не во сне, а я вчера видел настоящий пожар. К полдню мы подошли опять к берегам Ори и расположились на ночлег. Следующий переход мы шли в виду Ори, и степь казалась разнообразнее: кой-где выдавались косогоры, местами даже белели обрывы берегов

Ори, кой-где показывался камыш и даже кусты саксаула. Переправившись на другой берег Ори, транспорт опять раскинул свое гигантское каре.

По обыкновению транспорт снялся с восходом солнца, только [я] не по обыкновению остался в арьергарде. Орь осталась вправо, степь принимала по-прежнему свой однообразный, скучный вид. В половине перехода я заметил: люди начали отделяться от транспорта, кто на коне, а кто пешком. И все в одном направлении. Я спросил о причине у ехавшего около меня башкирского тюря, и он сказал мне, указывая нагайкою на темную точку: «Мана ауля агач» (здесь святое дерево). Это слово меня изумило. Как? В этой мертвой пустыне дерево? И уж, конечно, коли оно существует, так должно быть святое. За толпою любопытных и я пустил своего воронка. Действительно, верстах в двух от дороги, в ложбине, зеленело тополевое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную [толпу], с удивлением и даже (так мне казалось) с благоговением смотревшую на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерева и на ветках его навешано набожными киргизами кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма крашенных лошадиных волос, и самая богатая жертва — это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на все это, я почувствовал уважение к дикарям за их невинные жертвоприношения. Я последний уехал от дерева и долго еще оглядывался, как бы не веря виденному мною чуду. Я оглянулся еще раз и остановил коня, чтобы в последний раз полюбоваться на обоготворенного зеленого великана пустыни. Подул легонький ветерок, и великан приветливо кивнул мне своей кудрявой головою. А я, в забытьи, как бы живому существу, проговорил: «Прощай» — и тихо поехал за скрывшимся в пыли транспортом.

Мы остановились на речке Карабутаке, вблизи воздвигавшегося в то время форта. Здесь у нас была дневка. И как с нами следовал священник, то на другой день был пет молебен и освящено место для форта. Меня, в числе других, пригласил строитель форта разделить его походный обед в кибитке, и здесь-то я познакомился с ним, с единственным человеком во всем безлюдном Оренбургском крае. После долгой, самой душевной беседы мы с ним расстались уже ночью. На дорогу подарил он мне бутылку астрогону и пару лимонов, драгоценный дар в такой пустыне, каковы Каракумы, где я и оценил эту драгоценность по достоинству.

От Карабутака до Иргиза перешли мы еще две небольшие речки: Яманкайраклы и Якшикайраклы. Физиономия степи одна и та же безотрадная, с тою только разницею, что кой-где на плоских возвышенностях чернеют, как маяки, киргизские, из камней или просто из камышу и глины сложенные, мазарки, как их называют уральские козаки. Да еще замечательно, что все это пространство усыпано кварцем. Отчего никому в голову не придет на берегах этих речек поискать золота? Может быть, и в киргизской степи возник бы новый Санто-Франциско. Почем знать?

Пройдя усеянное кварцем пространство, мы перешли вброд реку Иргиз и пошли по левому, плоскому ее берегу. Вдали, на самом горизонте, синела гора, увенчанная могилами батырей и киргизских ауля, называемая *мана ауля*, т. е. здесь святой.

Оставив гору в правой руке, мы остановились на берегу Иргиза вблизи могилы батыря *Дустана*. Этот грубо из глины слепленный памятник напоминает общей формою саркофаги древних греков.

Мы остановились на том самом месте, где вчера на предшествовавший нам транспорт напала шайка хивинцев, и несколько человек захватили с собою, а несколько оставили убитыми. И здесь я в первый раз видел обезглавленные и обезображенные трупы, валяющиеся в степи, как какая-нибудь падаль. Начальник транспорта приказал зарыть их, а священник отпел панихиду по убиенным. Еще переход — и мы в Уральском укреплении.

Никогда не забуду того грустного впечатления, какое произвел на меня вид этого укрепления. Верст за пятнадцать мы увидели на возвышенности кучку чего-то неопределенного, и на спрос наш у вожака, что это такое, он нам ответил: «Иргизкала».

Мы подошли на такое расстояние, что можно было ясно различать предметы. Представьте себе на сером фоне кучку серых мазанок с камышовыми кровлями, обнесенную земляным валом. Это было первое мною виденное степное укрепление, поразившее меня так неприятно своею грустною наружностью. И действительно, оно издали больше похоже на загоны или кошары, чем на жилище людей.

Пройдя Уральское укрепление, мы два раза останавливались на озерах, а третий ночлег и дневку провели на речке Джаловлы. За этой гнилой речкой начинаются страшные Каракумы (черные пески). День был тихий и жаркий. Целый день у нас только и разговору было, что про Каракумы. Бывалые в Каракумах рассказывали ужасы, а мы, разумеется, как не бывалые, слушали и ужасались.

Задолго до рассвета начали вьючить плачущих верблюдов и мазать телеги. Начальник транспорта [торопил], чтобы как можно раньше сняться и до жаров пройти переход. Но представьте наше удивление: когда мы вошли в песчаные бугры, солнышко уже было довольно высоко, а ожидаемого жару и знаку не было. И чем выше солнце подымалось, нордовый ветер свистел и делалось холоднее, так что к полдню мы принуждены были вооружиться шинелями.

Трое суток мы не снимали шинелей и над рассказчиками про ужасы Каракумов начали было уже подтрунивать. Как вдруг ветер начал быстро стихать и к полдню совершенно стих. До колодцев оставалось еще верст десять, и эти десять верст показались мне десятью десять. Жара была нестерпимая.

Никогда в жизни я не чувствовал такой страшной жажды и никогда в жизни я не пил такой гнусной воды, как сегодня. Отряд, посылаемый вперед для расчистки колодцев, почему-то не нашел их, и мы пришли на гнилую солено-горько-кислую воду. А вдобавок ее в рот нельзя [взять] не процедивши: она пенилась вшами и микроскопическими пьевками. Тут-то я вспомнил подарок моего карабутацкого друга и, благодаря его догадливости, я с помощью лимона выпил стакан чая. Ничем так быстро не утолишь жажды, как горячим чаем вприкуску. Тот только почувствует всю цену сему китайскому продукту, кому пришлось хоть раз пройти эту киргизскую Сахару.

Транспорт снялся часа за два до рассвета. Ночью, по-моему, самое лучшее проходить Каракумы. Ночью не замечаешь однообразия песчаных бугров и не нуждаешься в отдаленном горизонте. Но лошади и верблюды иначе об этом думают. Они днем — и под тяжестью, и на свободе — должны сражаться с своим злейшим врагом — оводом, а ночью враг умолкает, и они наслаждаются миром.

С восходом солнца открылась перед нами огромная бледно-розовая равнина. Это — высохшее озеро, дно которого покрылось тонким слоем белой, как рафинад, соли. Такие равнины и прежде встречались в Каракумах между песчаными буграми, но не так обширны, как эта, и не были освещены восходящим солнцем. Я долго не мог отвести глаз от этой гигантской белой скатерти, слегка подернутой розовою тенью.

Один из Козаков заметил, что я пристально смотрю на белую равнину, сказал: «Не смотрите, ваше благородие, ослепнете». Действительно, я почувствовал легонькое дрожание света и, зажмуривши глаза, пустился догонять вожака, далеко выехавшего вперед. Так я перебежал

всю ослепляющую равнину. На противоположной стороне с высокого бугра я любовался не виданною мною картиной, будучи сам атомом этой громадной картины. Через всю белую равнину черной полосой растянулся наш транспорт, то есть половина его, а другая половина, как хвост черной змеи, извивалась, переваливаясь через песчаные бугры. Чудная, страшная картина! Блестящий белый фон картины опять начал действовать на мое зрение, и я скрылся в песчаных буграх.

Вечеру многие явились ко мне за медицинским пособием: они ничего, кроме серого тумана, не видели. На глазах не было никакого знака их слепоты, и я им на другой день закрыл глаза волосяными черными сетками. Тем дело и кончилось.

Бугры начали сглаживаться, начали показываться довольно широкие равнины. Вправо от дороги мы уже третий день видим синюю гору, и она, кажется, как будто от нас уходит. По мере того, как сглаживались песчаные бугры, уже становилась широкая белая лента лошадиных и верблюжьих остовов, протянутая через Каракумы.

Еще переход, и мы видели на горизонте, к югу, едва заметную синюю горизонтальную линию. То было Аральское море. Унылый транспорт мгновенно оживился. Как бы почувствовал свежесть в воздухе, отрадное дуновение моря.

На другой день мы уже купались в Сары-чеганаке (залив Аральского моря). Еще один день следовали по берегам гнилых соленых озер того же залива и вышли опять на равнину, покрытую кустарниками саксаулу. Этот и следующий переход, до озера Камышлыбаша (залив Сырдарья), мы проходили ночью, потому что не было возможности пройти днем. Жару было в тени 40°, а в раскаленном песке в продолжение 5 минут яйцо пеклося всмятку. Последний переход мы прошли ночью. С восходом солнца мы близко уже подошли к Раимскому укреплению. Вид со степи на укрепление грустнее еще, нежели на Калу-Иргиз. На ровной горизонтальной линии едва-едва возвышается над валом длинная, камышом крытая казарма. Вот и весь [Раим]. Навстречу нам вышел почти весь гарнизон. Бледные, безотрадные, точно у арестантов, лица. Мне сделалось страшно. «Не свирепствует ли у вас какая-нибудь эпидемия?» — спросил я у одного офицера. «Слава Богу, благополучно», — отвечал он мне.

Подъезжая к самому укреплению, открывается зеленая широкая полоса камыша, и кой-где из темной зелени выглядывает серебристая Сырдарья.

Итак, я на Раиме.

Между двумя широкими озерами высовывается высокий мыс, на котором построено укрепление, называется Раим, от *абы*, воздвигнутой здесь за сто лет над прахом батыря *Раима*, остатки которой вошли в черту укрепления.

Подробнейшее описание моего теперешнего местопребывания опишу вам в следующем листке.

А теперь молюся Богу о вашей здравии, мои милые, мои незабвенные хуторяне, и прошу вас, не забывайте меня в сей безотрадной пустыне.

Р. С. Степан Мартынович пускай подробно опишет мне, какова его школа и пасика, а Карлу Осиповичу просто кланяюсь, ему, я знаю, писать некогда».

Года два спустя по получении этого письма на хуторе я, по обязанностям службы, должен был

прожить несколько месяцев в Золотоноше и в Переяславе. Во время пребывания моего в Переяславе я почти ежедневно посещал хуторян, как старых и близких моих друзей, и, разумеется, всегда участвовал почти в публичном чтении «Раимской мухи». Я говорю «почти публичном чтении», потому что Никифор Федорович читал ее всем, кто посещал его хутор. Следя в продолжение зимы за «Мухой», я заметил в ней какое-то унылое, монотонное жужжание, чего, разумеется, хуторяне и не подозревали. Первые листки свои из степи он еще кое-как разнообразил, например, описывая быт кочующих полунагих киргиз, сравнивая их с библейскими евреями, а *аксакалов* их — с патриархом Авраамом. Иногда касается [он] слегка обитателей самого укрепления, сравнивая их с разнохарактерной толпой, выброшенной на необитаемый остров, а помещения юмористически сравнивает с хижинкой, которая не защищает ни от солнца, ни от дождя, ни от холода и рождает в несметном количестве блох и клопов. А от скорпионов и тарантулов расстилают на земляном полу хижинки войлок, которого они, по сказаниям киргиз, страшно боятся, потому что от войлока пахнет бараном, а баран, как известно, лакомится ими, как мы (не в осуд будь сказано) устрицами.

В одном из листков своих описывает он (тоже в юмористическом тоне) земляка своего, находившегося при описной экспедиции на Аральском море и возвратившегося в укрепление с широчайшей бородою, где уральские козаки (не исключая и офицеров) приняли его за своего расстригу-попа, за веру пострадавшего (земляк-то, видите, был из числа несчастных), и [он] знай благословляет их большим крестом да собирает посильное подаяние натурою, т. е. спиртом. И эта комедия продолжалась до тех пор, пока ротный командир не приказал ему сбрить бороду. С бородой, разумеется, и поклонения, и приношения прекратились. Впрочем, как он пишет, что это человек неглупый, и с которым он сошелся весьма близко. Так близко, что если бы не словоохотный и образованный земляк, то он мог бы назваться самым неистовым *камедулом*; и что этот счастливый земляк (счастливым он его называет потому, что несмотря на свое гнусное положение, настоящее и будущее — ему уже за пятьдесят лет, — он не слышал от него в самой откровенной беседе ни малейшего ропота на судьбу свою, почему он его шутя и называет кантонистом, т. е. повитым, вместо пеленки, солдатской шинелью), и что, пишет он, этот счастливый земляк сообщил ему самые дельные сведения о берегах и островах Аральского моря, — такие сведения (в геологическом отношении), за сообщение которых сам Мурчисон сказал бы спасибо.

В последнем конверте был получен и печатный приказ по Отдельному О[ренбургскому] корпусу, где напечатано, что Савватий Сокирин из унтер-офицеров в прапорщики производится за отличие, чему немало и радуется, и удивляется, и сам себя спрашивает, чем он мог отличиться?

А самое последнее письмо, в котором он только и писал, что в укреплении свирепствует скорбут, а лошади от сибирской язвы десятками падают, — так это-то письмо читал уже почтеннейший Степан Мартынович на смертном одре лежащему Никифору Федоровичу. На другой день совершенно было над ним елеосвящение, а на третий, в 3 часа пополудни, он отослал свою честную душу на лоно Авраамле.

В духовном своем завещании он назначил душеприказчиками меня и Степана Мартыновича, а Карл Осипович уехал этою же зимою на побывку в свой Дорпат да там и остался. Прасковье Тарасовне в своем завещании утверждает власть матери только в отношении Савватия, а о Зосиме ни слова не упоминает. Еще завещает, чтобы отпевание совершено было в церкви Покрова и чтобы исторический образ Покрова Пресвятыя Богородицы на время отпевания поставлен был в головах около его домовыны; и что приносит он на церковь Покрова 2 пуда желтого воску и пудовый ярого воску ставник перед образ Покрова. А чтобы бранные останки его были преданы земле непременно в пасике; и чтоб над его могилою была посажена липа в головах, а черешня в ногах; и чтоб каменного креста в Трахтемирове не заказывали, потому,

говорит, что камень только лишняя тяжесть на гробе грешника, а чтобы повесили на липе и черешне образа святых Зосима и Савватия; и чтобы ежегодно в день Покрова служить панихиду по его душе грешной и по душе праведного И. П. Котляревского; и чтобы раз в год кормить сытно нищую братию и кто пожелает — сто душ.

Гусли же и летопись Конисского положить в шкаф с книгами, замкнуть и ключ по почте переслать Савватию. «А еще, — прибавляет он, — кто дерзнет, кроме моего Савватия, наложить святотатственную руку на сие неоцененное мое сокровище, да будет проклят». Марине завещал по смерти ее выдавать ежегодно 10 рублей серебром, а Степану Мартыновичу — 25 и 25 ульев пчел единовременно.

Похоронивши буквально по завещанию своего наилучшего друга, я вскоре уехал в Киев на место службы, поручив Степану Мартыновичу писать ко мне ежемесячно подробно обо всем, что делается на хуторе.

Каждое первое число аккуратно я получал письмо от почтеннейшего моего товарища. Письма его, разумеется, не сверкали той ослепительной молнией ума и воображения, ни ученостью, ни новым взглядом на вещи, ни новыми идеями, ни даже блестящим слогом, как, например, поражают «Письма из-за границы» законодателя русского слова или задушевного друга и помощника его «Письма из Финляндии». Нет. В письмах моего товарища ничего этого не просвечивало. Зато в его нехитрых посланиях, как алмаз в короне добродетели, горела его непорочная душа.

Прочитывая его письма, я как [бы] сам присутствовал на хуторе, малейшие подробности я видел; видел, например, как неосторожную Марину, пришедшую на досуге в пасику, пчела за нос укусила, и она была такая смешная, что даже Прасковья Тарасовна улыбнулись.

Школу свою распустивши на Пасху, он уже не собирал ее, чтобы иметь больше времени для наблюдений за пасиками и вообще по хозяйству на хуторе, потому что Прасковья Тарасовна совершенно ото всего отказалась и собиралась уже принять чин инокини, только не во Фроловском монастыре в Киеве, а в Чигиринской богоспасаемой пустыни. Уже было совсем собралась, и паспорт взяла, и котомку сшила. Только вдруг, как с неба упал, явился на хуторе Зосим Никифорович. Явился, и все пошло вверх дном. Сначала он скрывал свои гнусные страстишки, потом слегка начал обнаруживаться, а потом завел в доме кабак и игорное сборище, отрешил от всякого вмешательства в дела по хозяйству смиренного моего товарища и, наконец, выгнал из дому почтеннейшую кроткую старушку Прасковью Тарасовну. Она, бедная, приютилась в школе у сердобольного Степана Мартыновича и более трех лет слушала неистовые песни пьяных картежников. Я хотел вступить за права законного наследника, но она меня умоляла не трогать Зосю, авось либо само все придет к лучшему концу.

Прошел еще и еще год, а лучшего конца не было. Наконец, я решился написать Савватию письмо, которым советовал ему: хочет успокоить последние дни своей матери и сохранить хоть малую часть своего наследия, то взял бы, если можно, отставку, а нельзя, то шестимесячный отпуск и — чем скорее, тем лучше — приезжал на хутор.

Савватий так и сделал. Взял отставку, потому что срок службы, назначенный за воспитание правительством, был кончен, и, следовательно, он мог располагать собою по произволу. По приезде своем на хутор он тоже должен был приютиться в школе, потому что в дом срамно было войти. Сначала обратился он к брату с лаской, но тот вернул ему такое словцо, какого не найдете в словаре любого городничего. Тогда обратился он к властям, и в силу духовного завещания был введен во владение хутором и принадлежащими ему добрами. А Зосим был изгнан с посрамлением.

Возмутилось твое безмятежное, кроткое сердце, когда ты подошел с ключом в руках к заветному шкафу, стерегущему святыню, в нем хранимую проклятием умирающего человека. Возмутилось твое благородное сердце, когда ты прикоснулся к замку, уже сломанному. Возмутилось твое бедное сердце, когда ты, растворив шкаф, увидел заветные гусли, на которых бряцал вдохновенный, как Давид, Григорий Гречка и маститый, благородный отец твой возмущал иногда тихими аккордами невозмутимое сердце своей подруги и безмятежное, благородное сердце своего единого друга Степана Мартыновича. Ты увидел их разбитыми, струны живые изорванными, а прекрасное изображение пляшущих пастушек запятнанное горячей табачной золою. Псалтырь же его священная, Геродот его, единая его радость — летопись *Конисского* наполовину изорвана для закуривания трубок.

Увидя все это, Савватий остолбенел. Слезы градом покатались по его мужественным бледным щекам, и он тихо, едва внятно проговорил: «Бог вам судия! Вандалы! Варвары!»

На третий день после этой сцены получил я разбитые гусли с письмом в Киеве и тотчас же отдал их искусному гардировщику. А когда они были готовы и струны натянуты, я уложил их в ящик, и взял отпуск на 28 дней, и уехал в Переяслав, т. е. на хутор. Я застал их еще в школе, но дом был уже вычищен, выбелен и к завтраму приглашено уже духовенство, то есть соборный протоиерей с причетом и покровский отец Яков, тоже с причетом, чтобы освятить обновленное жилище. Раскупорили гусли, и откуда взялась радость и веселие? Савватий, легонько касаясь струн, запел своим прекрасным тенором свою любимую песню:

Чи я така уродылась,
Чи без доли охрестылась,
Чи такии кумы бралы,
Талан-долю одибралы.

Степан Мартынович ему тихонько вторил, а Прасковья Тарасовна, сидя в уголку, навзрыд плакала.

На завтрашний день, часу около десятого, явилось духовенство с крестами и хоругвями. Освятивши дом, совершен был крестный ход вокруг хутора и пасики, с пением псалмов и стихирей. Сам протоиерей, почерпнув воды из Альты и осеня ее знамением животворящего креста, кропил сначала всех предстоящих, а потом каждого по одиночке. И по совершении священнодействия, разоблачась, благословил ястие и питье, сел за трапезу, а за ним и прочий чин духовный и светский.

Прасковья Тарасовна просто помолодела. Она вспомнила бывалые свои религиозные пиры и, как во время оно, обходила стол кругом с бутылкой и рюмкой, умаливая каждого гостя *хоть покуштовать*. Гости, разумеется, по обыкновению отнекивались; один только либерал, стихарный соборный пономарь, не отнекивался.

Когда же трапеза приблизилась к концу, и ничего уже не подавалось съедобного, опроче сливянки, тогда духовенство, не выходя из-за стола, встало и возгласило стройным хором:

Спаси уповающих на Тя, Мати незаходимого солнца.

По окончании гимна и послеобеденной благодарственной молитвы духовенство благодарило хозяев и снова село на места, уже не трапезы ради, а ради назидательной беседы. Низший чин духовный, как-то: дьячки, пономари и клир, вышли из светлицы и, погулявши малый час по саду, вышли на *леваду*. А там стоял ожеред только вчера сложенного сена. Вот они, с общего согласия, расположились в тени и почили сном праведных все до единого.

В светлице же беседа длилась почти что до вечерень. Было говорено много о предметах, касающихся общежития, и также о предметах, касающихся философии и богословия. Особенно отец Никанор, молодой священник богослов, говорил много, и все из Писания, и все по-римски, гречески и еврейски, всех писателей христианской древности так и валял наизусть. Старцы, дивясь его великому гениусу, только брадами белыми помавали и значительно посматривали друг на друга, как бы говоря: «Вот так голова!» А Прасковья Тарасовна, слушая витию, просто плакала. Степан Мартынович, может быть, больше всего собора разумел говорящего, но не обнаруживал этого ни единым движением. Когда же Прасковья Тарасовна заплакала, то он начал утешать ее, говоря, что отец Никанор читает совсем не жалобное, а более сатирическое.

Отец же протоиерей, чтобы положить конец сей слезоточивой трагедии, просил подать себе гусли. Гусли поданы. И он встал, расправил руками белоснежную свою бороду, завернул широкие рукава своей фиолетовой рясы, возложил персты своя на струны и тихим старческим голосом запел:

О всепетая мати.

К нему присоединился собор духовенства, Савватий и даже сам Степан Мартынович. Сверх ожидания пение было тихое и прекрасное. После этого гимна были петы еще разные канты духовного содержания. Дошло, наконец, и до песен мирского, житейского содержания. Уже начали было хором:

Зажурылась попадя
Своею бидою.

Но отец протоиерей, видя близкий соблазн и недремлющие силы врага человеческого, повелел садиться в брички и рушать восвосяи. Что, к немалому огорчению Прасковьи Тарасовны, и было исполнено.

Причет же церковный вышел из-под сена уже в сумерки и, не заходя на хутор, перелез через тын и, выйдя на шлях, ведущий к городу, с общего согласия запели хором:

Жито, маты, жито, маты,
Жито не полова.

Вечер был тихий, и Степан Мартынович, подойдя к Альте, остановился и долго слушал стихающую вдаль песню и никак не мог догадаться, кто бы это мог петь так сладкогласно?

Исполнив священный долг душеприказчика, возложенный на меня покойным другом моим Никифором Федоровичем Сокирою, я на другой день после описанного мною праздника уехал в Киев. Савватий Сокира мне чрезвычайно понравился своими правилами — образом взгляда на вещи вообще и на человека в особенности, своим юношеским девственным взглядом на все прекрасное в природе.

Когда он говорил о закате солнца или о восходе луны над сонным озером или рекою, то я, слушая его, забывал, что он медик, [и радовался], что физические науки не погасили в его великосильной душе священной искры божественной поэзии.

Прощаясь с ним, я не мог ему (по праву старшинства) ничего лучше посоветовать, как следовать влечению собственных чувств и убеждений, и только завещал ему писать ко мне как можно чаще.

По приезде в Киев выгрузили из моей нетычанки и трехведерную кадущку белого, как сахар, липцу. «Это, — говорит мой Ярема, — подарок Степана Мартыновича. Они сами поставили и крепко наказали, чтобы не говорить вам ни слова».

— Ну, спасибо ему, что полакомил нас с тобою, стариков. Нужно будет и ему что-нибудь послать, а? Как ты думаешь, Яремо?

— Разумеется, нужно, мы с вами не скотина какая-нибудь бесчувственная.

— Да что же ему послать-то такое? Право, не придумаю. Заказать разве Сенчилову образ для его пасики? Так образ у него есть хороший. Да! Он как-то говорил, что ему хотелось бы прочитать Ефрема Сирина. Прекрасно. Возьми, Яремо, эти деньги и эту записку и ступай в лавру, спроси там отца типографа. Отдай ему все это, а от него возьми большую книгу и принеси домой.

Через несколько дней Степан Мартынович сидел в своей пасике и пытался [найти] у Ефрема Сирина, отчего вышла такая противоположность между родными братьями, а прочитавши от доски до доски, он крепко призадумался. После раздумья написал письмо отцу типографу, прося его прислать ему Иустина Философа, на что и прилагает 5 руб[лей] сере[бром]. Но как Иустина Философа не нашлось в киево-печерской книжной лавке, то Степан Мартынович и остался при своем убеждении, что такие чудеса совершаются токмо единою всемогущею волею Божиею и что он не подозревает даже ниже малейшего влияния человека на человека.

Вместо Иустина Философа отец типограф прислал ему акафист Пресвятой Богородицы Одигитрии и «Киевский Патерик», из которого он почерпнул прекрасные назидательные идеи и решился по гроб свой подражать святому прекрасному юному отроку праведного князя Бориса.

В продолжение года получил я всего два письма от Савватия Сокиры, и те без всякого внутреннего содержания. Письма эти напоминали мне школьника, пишущего письмо к своим родителям по диктовке своего наставника. Впрочем, он сам чувствовал пустоту своих писем и извинялся тем, что материалов еще не накопилось для порядочного письма, говоря, что самая скучная и монотонная история — самого счастливого народа.

Зато аккуратно, каждый месяц, снабжал меня длинными посланиями почтеннейший Степан Мартынович. Все происшествия, не имеющие никакого отношения к моим хуторянам, он описывал с усыпляющими подробностями. Например: «Накануне Воздвижения честного и животворящего креста Господня у приятеля моего, мещанина Карпа Зозули, кобыла ожеребилась буланым жеребчиком. А у соседа нашего той же ночи вола украдено».

Что же касалось собственно хуторян, тут плодовитости его не было пределов. Словом, он воображал себя душеприказчиком, а меня своим товарищем.

В одном из своих нелакониических писем описывает он появление Зосима на хуторе, в самом жалком виде: «Он постучался в двери моей школы, когда я уже совершил молитвы на сон грядущий и читал уже третий кондак акафиста Пресвятой Богородицы Одигитрии. Страх и трепет прииде на мя. «Кто там?» — воскликнул я во гневе. «Отвори, — говорит, — Христа ради, Степан Мартынович». Я чувствую, что называет меня по имени, взял каганец, пошел и отворил двери. Свет помрачился в очах моих, когда увидел я едва рублищем прикрытого входящего в школу блудного сына Зосю.

— Что, — говорит, — не узнал меня дядюшка, а? Каков я молодец?

— Очам своим не верю! — говорю я.

— Ну, так ощупай хорошенько и рукам поверь.

— Не верю! — проговорил я снова.

— Я, — говорит он, — твой бывший ученик, а теперь заслуженный вор, пьяница и привилегированный картежник Зосим Сокирин. Ну, теперь знаешь?

— Знаю, — говорю я.

— А коли знаешь, так и толковать больше нечего. Посылай за сивупле. Разумеешь? За водкой. Да поищи, нет ли где заплесневелого кныша от прошлогодней хавтуры?

— Горилки, — говорю, — нет, и послать некого.

— Давай денег, я сам пойду.

Я дал ему на кварту денег, и он поспешно удалился. Достал я из коморы меду, хлеба, поставил на стол и хотел было продолжать акафист, но дух мой был возмущен и помышления мои омрачены были внезапным видением. Долго ходил я по школе, как в лесу неисходимом, а Зося не являлся. Свеча перед образом догорела, я другую засветил, и та уже на половине. А Зоси нет как нет. «Господи, — думаю себе, — живой на небесах Сердцеведче наш! Не навождение ли сатанинское было надо мною?» И, прочитавши «Да воскреснет Бог», я успокоился духом, прочитал снова акафист Пресвятой Богоматери Одигитрии и осенил крестным знамением двери, окна и комин, прочитал трижды «Да воскреснет Бог» и отошел ко сну.

На другую ночь повторилось то же самое видение, на третью то же, и я все ему даю на кварту горилки, и оно исчезает. Я сообщил о сем видении Прасковье Тарасовне, и она, бедная, изъявила желание провести ночь в моей школе, чтоб увидеть сие видение.

Вечеру мы с Прасковьей Тарасовной вышли из хутора, как будто на проходку. Савватий Никифорович были в городе по долгу службы. Когда смерклося, мы пришли в школу. Я засветил свечу и достал «Патерик», начал читать, утешения ради житие преподобного мученика Мойсея Угрина, за целомудрие пострадавшего от некия блудные болярыни. И дочитал уже, как он, прекрасный юноша, в числе прочих плененных, по разделу достался на долю вдовы-воеводыни, лицом зело красная, а сердцем аспиду подобная. Первая услы[ша]ла стук в двери Прасковья Тарасовна, а потом уже я. Закрывши книгу, я пошел отворить дверь, и она вышла за мною, чтобы спрятаться в сенях и не быть видимою. Но когда я отворил дверь с каганцем в руке и она увидела лицо, омраченное развратом, своего Зоси, то вскрикнула и повалилася на землю, лишённая всякого чувства. Он же рыкнул на меня, аки лев свирепый:

— А, подлец, христопродавец, ты меня продать хотел! Говори, кто здесь, а не то тут тебе и аминь. — И так сдавил мне горло, что я едва выговорил: «Твоя маты».

— А! Когда она только, то это хорошо. Мне давно с ней переговорить хотелось. Где она?

Я посветил ему каганцем и указал на распростертую на земле Прасковью Тарасовну. Он, взглянув на нее, проговорил: «Ничего, пусть отдохнет, а мы с вами побеседуем. А что, исполнил ты мое приказание? Сегодня последний срок. Деньги, или молися Богу», — говорит. В это самое мгновение Прасковья Тарасовна застонала. Я вышел в сени, взял ее, бедную, на руки и, как дитя малое, положил на мое суровое ложе. Немного погодя, она пришла в себя и проговорила: «Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!»

— Я здесь, маменька, что прикажете?

Она взглянула на него и залилась горькими слезами. Он долго молча смотрел на ее горькие слезы и, наконец, проговорил:

— Вот что, маменька! Ни обмороки, ни слезы, ни молитвы, ни даже ваши проклятия не в силах поколебать меня. Это все вздор, чепуха. Одно, скажу вам, что меня может обратить на путь истинный, — это деньги, и только одни деньги. Дайте денег, и чем больше, тем лучше. Да и в самом деле, за что же я лишен своего наследства? Верно, по протекции вашей! Ну, теперь и раскошеливайся!

— Зосю мой! Сыну мой единый! — проговорила она снова.

— Нечего тут «единый!» Я тебе такой же сын, как ты мне мать. Ну! поворачивайся, Степан Мартынович. Она тебе после отдаст!

Достал я из *бодни* все, что у меня было, и передал ему в руки. Он взял деньги, пересчитал их и сказал: «Больше нет?»

— Нету, — говорю, — все до единого пенязя.

— Смотри, врать грешно. Ты сам меня учил. Ну, на первый раз достаточно. Теперь марш на *Пидварки*! Теперь я им покажу, кто я таков. До свидания, маменька. Потрудитесь заплатить долг.

И с этим словом он вышел из школы. Прасковья Тарасовна еще раз проговорила: «Зосю мой! Сыну мой единый!» — и упала на постель, аки мертвая.

Оставя ее в беспамятстве, я пошел на хутор дать знать Савватию Никифоровичу о случившемся и просить помощи, но он, возвратясь из города, лег спать, того не зная, что матери дома нету: он думал, что она тоже спит. Когда я возвратился в школу, Прасковья Тарасовна уже сидела на кровати и тяжело плакала. Я не рассудил утешать ее в горести, а, засветивши свечу перед образом, начал читать акафист Божией Матери Одигитрии. Она тоже встала на ноги и, горько плача, молилася. По акафисте прочел я еще канон той [же] Божией Матери Одигитрии, а потом молитвы на сон грядущий и с коленопреклонением прочел молитву «Господи, не лиши мене небесных Твоих благ». По отпуске я молча вышел из школы, и когда возвратился, то она уже спала сном праведницы на моем старческом одре. Я тихо раскрыл Ефрема Сирина, и, охраняя сон праведницы, сидел я за книгою до самого утра.

Поутру пошли мы на хутор, и я рассказал Савватию Никифоровичу все случившееся в ночи. И на рассказ мой [он] только заплакал.

Вечеру того же дня получил он предписание от городничего произвести медицинское освидетельствование, по долгу уездного врача, над обезображенным телом, найденным в пустке покрывки N. на *Пидварках*.

Прочитавши сие предписание, он молча посмотрел на Прасковью Тарасовну, а та залилась слезами и проговорила: «Зосю мой, сыну мой единый!»

Между прочими мелкими событиями на хуторе сообщил мне почтенный мой сотоварищ и это довольно крупное событие, но сам Савватий не писал мне об этом ни слова, ни даже о том, что он занимает теперь место уездного врача в г. Переяславе.

Далеко, очень далеко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, перенестись мыслью на берег широкого Днепра и сесть где-нибудь, хоть, например, у Трахтемирове, под тенью развесистой вербы, смотреть на позолоченную закатом солнца панораму, а на темном фоне этой широкой панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы Божии, и один из них ярче всех сверкает своею золотою головою. Это собор, воздвигнутый Мазепою. И много, много разных событий воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму.

Но чаще всего я лелею мое старческое воображение картинами золотоголового, садами повитого и тополями увенчанного Киева. И после светлого, непорочного восторга, навеянного созерцанием красоты твоей неувядающей, упадет на мое осиротевшее старое сердце тоска, и я переносуся в века давноминувшие и вижу его, седовласого, маститого, кроткого старца с писаною большою книгою в руках, проповедующего изумленным дикарям своим и кровожадным и корыстолюбивым поклонникам Одина. Как ты прекрасен был в этой ризе кротости и любомудрия, святой мой и незабвенный старче!

И мы уразумели твои кроткие глаголы и тебя, как старого и ненужного учителя, не выгнали и не забыли. А одели тебя, как Горыню-богатыря, в броню крепкую, сначала осуровили твое кроткое сердце усобицами, кровосмешениями и братоубийствами, сделали из тебя настоящего варяга и потом уже надели броню и поставили сторожить поработанное племя и пришельцами поруганную, самим Богом завещанную тебе святыню.

Кто, посещая Киево-Печерскую лавру, не отдыхал на типографском крыльце, про того можно сказать, что был в Киеве и не видал киевской колокольни.

Мне кажется, нигде никакая внешность не дополнит так сердечной молитвы, как вид с типографского крыльца.

Я долго, а может быть, и никогда не забуду этого знаменитого крыльца.

Однажды я, давно когда-то, отслушав раннюю обедню в лавре, вышел по обыкновению на типографское крыльцо. Утро было тихое, ясное, а перед глазами вся Черниговская губерния и часть Полтавской. Я хотя был тогда и не меланхолик, но перед такой величественной картиной невольно предался меланхолии. И только было начал сравнивать линии и тоны пейзажа с могущественными аккордами Гайдна, как услышал тихо произнесенное слово: «Мамо!.. Мне, мамо, всегда кажется, что я на этом крыльце как бы слушаю продолжение обедни». Я оглянулся невольно. (Грешно прерывать нескромным взглядом такое прекрасное настроение человеческой души. Но я согрешил, потому что говор этот показался паче всякой музыки.) Говорившая была молодая девушка, стройная, со вкусом и скромно одетая, но далеко не красавица. А кого она называла «мамо» — это была женщина высокого роста, сухая, смуглая и когда-то блестящая красавица. Она была в черном шерстяном капоте или длинной блузе, опоясана кожаным поясом с серебренною пряжкой. Голова накрыта была, вместо обыкновенной женской шляпы, белым широким, без всяких украшений чепцом. Я, не знаю почему-то, не предложил им скамейку, а они, тоже не знаю почему, с минуту молча посмотрели на пейзаж и ушли. Я тоже встал и ушел за ними. Они прошли лаврский двор, тихо разговаривая между собою, и вышли в святые ворота Николы Святоши, и я за ними. Они вышли из крепости, и я за ними. Они пошли по направлению к «Зеленому трактиру», и я за ними. Они вошли в ворота трактира, и я тут только опомнился и спросил у самого себя, что я делаю? И, не решивши вопроса, я вошел в трактир и стал разбирать иероглифы, выведенные мелом на черной доске. По долгом разбирании таинственных знаков разрешил, наконец, тайну, что такой-то № занят такой-то с воспитанницею. Я, хотя и теперь даже не могу похвалиться знанием тактики в деле волокитства, а тогда и подавно. Разобравши хитрое изображение, я, и сам не знаю как,

очутился в общей столовой и спросил себе, тоже не знаю, чего-то, а с слугою заговорил тоже о чем-то, случившемся когда-то. А после всего этого я зашел к здесь же, на Московской улице, квартировавшему моему знакомому, художнику Ш[евченко], недавно приехавшему из Петербурга. Поговорил с ним об искусствах вообще, о живописи в особенности, и, думая пойти в лавру, я пошел в сад (здесь, видимо, предопределения дело). Хожу только я себе по большой аллее один-одинешенек (день был будний) и присяду иногда, чтобы полюбоваться старым Киевом, освещенным заходящим солнцем. Только смотрю, из-за липы, из боковой аллеи, выходят мои утренние незнакомки. Тут я встал, вежливо раскланялся и предложил скамейку отдохнуть немного, извиняясь, что поутру этого не сделал на типографском крыльце. Они молча сели. И сестра милосердия (как я тогда думал) спросила у меня:

— Вы, вероятно, живописец?

Я отвечал: «Да».

— И рисуете виды Киева?

Я отвечал: «Да».

После длинной паузы она спросила:

— Вы давно уже в Киеве?

Я отвечал: «Давно!»

— Нарисуйте для меня этот самый вид, которым мы теперь любуемся, и пришлите в «Зеленый трактир» в № NN..

Рисунок акварельный был у меня давно начат. Я его тщательно окончил и на первом плане между липами нарисовал моих незнакомок и себя тоже нарисовал, сидящего на скамейке в поэтическом положении, в соломенном брыле.

На другой день поутру я сидел с оконченным рисунком на типографском крыльце и дожидался моих незнакомок, как будто они мне велели самому принести рисунок не в «Зеленый трактир», а на типографское крыльцо. Не успел я помечтать хорошенько, как незнакомки мои явились.

— А! Вы уже здесь? — почти воскликнула старшая.

— Здесь, — ответил я.

— Давно?

— Давно, — ответил я.

— Да и портфель с вами. Вы, верно, рисовали?

— Нет, не рисовал! — И вынул из портфеля рисунок, заказанный ею вчера. Она долго молча смотрела на рисунок и на меня, потом взяла мою руку, крепко пожала и сказала: «Благодарю вас. И будемте знакомыми, хорошими приятелями, а если можно, друзьями. А это, кажется, возможно!» — прибавила она, глядя на свою молодую подругу.

— Сядемте, отдохнем немного, — сказала она. И мы все трое сели. После непродолжительного молчания она обратилась ко мне и сказала:

— А знаете ли, Глафира у меня выиграла сегодня пари. Мы с нею вчера спорили. Я уверяла ее, что вы идиот, а она доказывала противное!

— Благодарю вас, — сказал я младшей, а старшей сказал: — Не стоит благодарности, — после чего мы все расхохотались и сошли с типографского крыльца.

Следующую осень прожил я у них в деревне и уже называл их своими родными сестрами. А к концу осени старшую называл уже мамою, а меньшую невестою. Я совершенно был счастлив. Весной они приехали в Киев, но, увы! меня там уже не было. Я далеко уже был весною и о мелькнувшей радости вспоминал, как о волшебном очаровательном сне.

Вот почему так любо мне вспоминать о типографском крыльце.

Много лет и зим пролетело после этого события над моею одинокою, уже побелевшею головою. Я опять в Киеве и опять посещаю заветное крыльцо. И теперь, накануне праздника Успения Богородицы, после ранней обедни, вышел я на типографское крыльцо и, любуясь пейзажем, вспоминал то счастливое, давно мелькнувшее счастье и как бы слушал голос ангела, произносящего слово «мамо». Я так предался воспоминанию, что мне как бы действительно послышалось это детское милое слово, так живо, что я оглянулся. И представьте мое изумление: из коридора на крыльцо выходила Прасковья Тарасовна, а за нею, как журавль, шагал друг мой и сотоварищ Степан Мартынович, но таким щеголем, что если бы не жиденская белая бородка, то я подумал бы, что он просто жениться приехал в Киев. Сертук на нем длинный из гранатового дорогого сукна, шляпа черная пуховая с широкими полями, сапоги, правда, личные, но тщательно вычищенные, а патерица просто архиерейская, с серебряным набалдашником. Франт, да и только.

После первых приветствий и лобызаний я усадил их на скамейку и спросил, давно ли они в Киеве.

— Уже третий день, — отвечал Степан Мартынович, — и привезли вам письмо от Савватия Никифоровича, та не можем найти Рейтарскую улицу, она где-то на старом Киеве, а мы еще там не были. Сегодня думаем идти на акафист В[арвары]-в[еликомученицы], а завтра, если Господь даст, приобщимся святых таин Христовых здесь, в лавре. И тогда уже думали искать Рейтарскую улицу. А Господь дал так, что и искать ее не нужно: вы сами нам ее покажете. Письмо бы я вам и теперь отдал, да оно у меня в шкатулке на квартире. А квартира наша здесь же, на Печерском, в доме мещанки Сиволапихи.

Я, слушая этот монолог, смотрел на Прасковью Тарасовну. Она сидела, закрывши очи, и казалась мне уснувшею страдальцей. На кротком лице ее выражалось так много сердечного горя, что я не мог смотреть на нее и обратился с новым вопросом к Степану Мартыновичу:

— Ну, что у вас хорошего на хуторе творится?

— Хвала милосердому Богу, все хорошо и все благополучно. Скоро думаем совершить бракосочетание. Но об этом вам сам Савватий Никифорович подробно пишет.

— Куда же намерены теперь идти?

— А мы думаем, если Господь благословит, поклониться святым угодникам печерским. Только теперь тесно. И мы подождем, пока благочестивые поклонники выйдут из пещер, и тогда думаем просить отца ключаря повести нас самому или же послать с нами кого из братии.

Мне был знаком отец Досифей, настоятель больничного монастыря, и я отправился к нему

просить оказать нам великую услугу и просить кого следует, чтобы позволено было посетить нам пещеры не в числе многочисленных богомольцев. Просьба моя была уважена, и с нами послали в провожатые маститого старца отца Иоакима.

Поклонившись святым угодникам печерским, мы отправились на квартиру. Взявши письмо, я оставил своих приятелей, и пошел домой, и по обыкновению зашел в сад, сел на своей любимой скамейке, и, раскрывши письмо, читал вот что:

«Бесценный друже отца моего и мой заступниче и покровителю.

Простите меня великодушно за мое долгое молчание, ничем не извиняющее мою ленивую натуру. И то правда, что писать письмо без содержания — то же самое, что переливать из пустого в порожнее. Правда, материалы случались для откровенного дружеского письма, но материалы такого рода, что не подымалось перо сообщать их кому бы то ни было. Теперь же грустные тяжелые тучи скрываются за горы и на горизонте показывается блестящая Аврора, предшественница моего светлого, невозмутимого счастья. Проще сказать, я женюсь. Невеста моя живет теперь с своею матерью в школе доброго моего будущего посаженного отца Степана Мартыновича и дожидает вашего благословения. Приезжайте, мой благодетелю, и благословите ее, сироту, на великий путь новой улыбающейся жизни! У нее, как у меня, отца нету, только мать осталась. И мы, с согласия матерей наших, решили, чтобы ее благословили вы, а меня — мой единственный, благородный мой друг и наставник Степан Мартынович. Приезжайте хоть только взглянуть на мою прекрасную невесту.

По обязанности уездного медика я часто теперь хутор наш передаю во владение Степана Мартыновича и, кажется, скоро совсем его передам. Однажды по обязанностям службы я еду проселочного дорогою. Грязь была, лошадка обывательская едва передвигала ноги; смеркало, дождик накрапал — словом, перспектива была неотрадная. Возница мой, тоже не видя в будущем ничего отрадного, предложил мне подночевать. «Да где же, — говорю я, — серед шляху, что ли?»

— Крый Боже, серед шляху. Нехай ляхи, татары ночують в таку непогодь серед шляху. А мы звернемо. Он бачите лисок?

— Бачу, — говорю я.

— Отже в тим лиску есть хутир пани Калытыхи. От вона нас и впустить ночувать.

— Добре, — говорю я, — звертай з шляху!

— Стривайте, отут буде шляшок.

Проехавши с полверсты, я увидел едва заметную дорожку, ведущую к сказанному хутору. Мы поехали по этой едва заметной дорожке и вскоре очутились в лесу. Возница мой начал насвистывать какую-то заунывную песню, а я задумался бог знает о чем.

— Сей лис зоветься, пане, Лапын риг, — проговорил возница, — а за що його так зовуть, то бог його знае. Брешуть стари люде, що тут жив колысь давно розбойнык Лапа и що велики сокровыща поховав тут у озерах. И стари люды говорят, що як высохнуть ти болота та озера, то можна буде мишкамы золото носыть. Бог его знае, колы-то те буде. А он и хутир.

Действительно, огонь показался между деревьями, и вскоре мы подъехали к затворенным

воротам. Собаки страшным лаем нас встретили, потом раздался женский, довольно грубый голос: «Хто тут?» — «Благословить, матушка, переночувать на вашем хутори», — отвечал мой возница. «Боже благословы, тилько сами вже одчиняйте ворота, бо мои наймиты вечеряють, им никола, а я не в сылах». Возница мой слез с телеги, отворил ворота, втащил меня с телегою и своею лошадкою на двор и снова затворил ворота. И, обращаясь к хозяйке, сказал: «Добрывечир, матушко». — «Добрывечир, добрый чоловіче. Видкиля Бог несе?» — «Та от везу панка з Глымязова. Та бачите, яка непогодь». Я тоже подошел к хозяйке и сказал: «Позвольте, если можно, переночевать у вас».

— Извольте, с большим удовольствием, — отвечала она мне с едва заметным малороссийским акцентом. — Прошу покорно в комнату.

Я взошел на крылечко. На пороге меня встретила девушка со свечой в руке, по-крестьянски одетая, но опрятно и даже изысканно. Отступая назад в комнату, она сказала чисто по-русски: «Прошу покорно!» Из чего я заметил, что это не служанка.

Войдя в комнату, мы остановились друг против друга и простояли до тех пор, пока не вошла хозяйка хутора в комнату и не сказала:

— Наташа, что же ты не просишь гостя садиться? Стоит себе со свечою, как пономарь. Рекомендую вам, это полтавская институтка. Прошу покорно, садитесь! И бог их знает, чему они их учат в том институте! Ну, я уже по хозяйству у своей и не спрашиваю, да хоть бы человека чужого умела привитать. А то стоит себе!

Потом обратилась она к девушке, сказала ей что-то шепотом, и та вышла в другую комнату. Хозяйка ушла вслед за нею, сказавши: «Извините нас!» Я между тем стал осматривать комнату. Комната была для хутора довольно большая и по величине своей низкая, но чистая и опрятная; мебель старинная и разнохарактерная; на стене висел в черной деревянной раме портрет Богдана Хмельницкого, а на круглом столе, рядом с каким-то вязаньем, лежала книжка «О[течественных] з[аписок]», развернутая на «Давиде Копперфильде». В это время вошла хозяйка. Я теперь только обратил на нее должное внимание. Это была женщина высокого роста, полная не до безобразия, с лицом довольно еще моложавым и добродушным. Одета она была на манер богатой мещанки или солидной попадьи. А если б у нее на голове вместо платка был кораблик, то я подумал бы, что это явилась передо мною с того света какая-нибудь сотничиха или полковница.

— Что это вы, — сказала она, снявши со свечи, — любопытствуете, что читает моя Наташа? Да, она у меня, слава Богу, большая охотница читать. Да и меня на старости лет приучила, так что мне теперь и скучно сидеть за работой без чтения. Думаю на будущий год выписать еще «Современник», а то одной книги в месяц для нас мало, мы ее наизусть выучиваем.

Вскоре был подан чай, то есть самовар. А вслед за самоваром вышла и Наташа, одетая уже барышнею.

— Не втерпила-таки... — проговорила мать, улыбнувшись, и потом прибавила: — Наливай же чаю, Наталочко. Я ее, знаете, приучаю понемногу к хозяйству, — сказала она, обращаясь ко мне.

— И прекрасно делаете, — ответил я. — Зачем они только костюм переменили? Им наш народный костюм к лицу.

— Мне она сама больше нравится в простом платье, так вот подите поговорите с нею.

Наташа покраснела, покраснела и, наконец, покраснела, как вишня, и выбежала из комнаты.

— Ах ты, бессережная! — проговорила ей мать вслед и принялася сама разливать чай.

Незнакомки мои принадлежали к числу тех немногих людей, с которыми сходишься при первом свидании. В продолжение трех часов я с ними совершенно освоился и со всеми подробностями узнал их домашний быт, наклонности, привычки, доходы и расходы и даже часть их биографий.

Елена Петровна Калыта, вдова небогатого помещика нашего уезда, воспитывалась тоже в институте, только хутор, как говорит она, перевоспитал ее по-своему. «А когда Наташа родилась у нас, то мы с покойным моим Яковом того же дня положили, чтобы каждый год уделять из наших бедных доходов маленькую сумму собственно для воспитания Наталочки. От и воспитали, — прибавила она шутя, — а она не умеет и чаю налить».

После ужина я с ними простился, чтобы завтра с рассветом пуститься в дорогу.

И действительно, перед восходом солнца я оставил хутор. Меня проводило за ворота стадо индеек и стадо гусей; кроме их, никто еще на хуторе не шевелился. Лошадки отдохнули, возница мой повеселел и, еще не сядя в телегу, насвистывал какую-то песенку.

Выехавши за ворота, он поворотил вправо, а мне казалось, что нужно взять влево. Но так как вчера ночью приехали на хутор, то я и не мог утвердительно сказать, которая наша дорога. А потому и рассудил положиться на опытность возницы, говоря сам себе: «Он же меня завез на хутор, он и вывезет». Пустив вожжи, словоохотливый возница, после панегирика хозяйке хутора и ее дочке, стал мне описывать ее богатство:

— Оце все, що тилько оком скинеш лису, все ии. А лис-то, лис мыленный: дуб, наголо дуб, хоч бы тоби одна погана осыка. Та що тут лис? А други добра, а степы, а озера, а ставы та млыны! Та що й казать! Сказано, пани — так пани и есть. А ще я вам скажу... — Тут лошади остановились. Возница, увлекшись рассказом, не посмотревши вокруг себя, прикрикнул на лошадей, лошади дернули, и задняя ось отскочила, а я вывалился с телеги. Тогда он закричал: «Прруу, скажени!» — и, посмотревши вокруг, проговорил: «От тоби й на... Дывыся, проклятый пень де став: якраз посеред шляху. Я ще вчора думав, що мы в цим диявольским лиси де-небудь та зачепимось. Воно так и стало».

— Що ж мы тепер будемо робыть? — спросил я.

— А бог его знае, що тут робыть! — И, подумавши, прибавил: — Эх, головко бидна, сокиры нема, а то б повалыв дуба — от тоби и вись. Вернемося на хутир, там чи не дамо якои рады.

Я обрадовался, не знаю почему, этой благой идее и, разумеется, беспрекословно изъявил согласие. И, пока возница укладывал колесо на телегу, я тихо пошел между деревьями по направлению к хутору.

Солнце уже прорезывало золотыми полосками чащу леса, когда я подошел к живой изгороди хутора. Тут я остановился, чтобы подумать, в которой руке я оставил дорогу. В эту минуту разлился как-то чудно по лесу прекрасный девичий голос. У меня сердце замерло, и я как окаменелый стоял и долго не мог вслушаться в мелодию. Голос ко мне близился, я уже стал разбирать слова песни:

Ой ты, козаче, ты, зеленый барвиночку!
Хто ж тоби постеле в поли билую постиленьку?

Голос становился слабее и слабее и, наконец, совсем замолк. Я, освободившись от обаяния лесной музыки, пошел около изгороди и вскоре очутился на хуторе. Первое, что мне попалося на глаза, это была выходявшая из садовой калитки Наташа. Она мне показалась настоящей богиней цветов: вся голова в цветах, между волосами, вместо жемчугу, бусы из белых черешень. Будь она одета барышней, эффект был бы не полный, но к наряду крестьянки так шли эти огромные цветы и черешневые бусы, что пестрее, гармоничнее и прекраснее я в жизнь свою ничего не видывал. Она, с минуту простоявши, исчезла за калиткой, а на крыльце показалась мать, одетая по-вчерашнему. Увидя меня, она громко засмеялась и проговорила:

— Что, далеко уехали?

Я приветствовал ее с добрым утром и вошел на крылечко.

— Что, небось с нами не скоро разделаетесь? — говорила она, смеясь. — Прошу покорно, — прибавила она, указывая на скамейку. Я сел. — Наталочко! — закричала она. — Скажи Одарци, нехай самовар вынесе сюди, на ганок! Я с нею так привыкла к своему простому языку, что иногда и гостей забываю!

— Я сам чрезвычайно люблю наш язык, особенно наши прекрасные песни!

Вслед за Одаркою, выносившею самовар, потупя голову, скромно выступала зардевшаяся Наташа.

— Слышишь, Наталочко, они тоже любят наши песни! А уж она у меня так и во сне их, кажется, поет. И, знаете ли, ни одного романса не знает. По возвращении с Полтавы пела, бывало, иногда какой-то «Черный цвет», а теперь и тот забыла.

Я рассеяно слушал и любовался Наташей, и мне почти досадно было, зачем она опять нарядилась барышней.

— Ах я божевильная! — воскликнула вдруг хозяйка. — А ты, Наталочко, и не напомнишь. Ведь сегодня суббота. А мы в субботу собирались ехать в Переяслав. Одарко! — Служанка появилась в дверях, сказавши тихо: «Чого?»

— Скажи Корниеву, щоб бричку лагодыв и кони годував. А пообидавши, рушимо в дорогу. — «Добре», — сказала Одарка и скрылась.

— Как же это хорошо, что я вовремя вспомнила. Если вы не торопитесь, то пообедайте с нами и будьте нашим кавалером до города.

— Даже и в городе, если вам угодно.

До обеда я гулял с Наташей в саду и около хутора, осматривали и критиковали их уютный, прекрасный хутор. Показывала она мне в саду и собственное хозяйство, т. е. цветник. Правда, в нем не было больших редкостей, зато была чистота, какой не найдете и у голландского цветовода. Я с наслаждением смотрел на ее незатейливый цветник.

— Я маме, — говорила она самодовольно, — я маме каждое утро с мая и до октября месяца приношу букет цветов. А барвинок у нас зеленеет до глубокой осени. А с весны так он еще под снегом зеленеть начинает. Я ужасно люблю барвинок.

— Да, барвинок превосходная зелень. А имеете ли вы плющ?

— Нет, не имеем.

— Так я обещаю вам несколько отсадков.

— Благодарю вас.

Я только вслух обещал ей плющ, а втихомолку обещал много разных цветов и даже выписать цветочных семян из Риги, но, не знаю почему, мне не хотелось сказать ей об этом.

После обеда без особенных сборов мы сели в бричку, а Одарку усадили в мою реставрированную телегу и пустились в путь. К вечеру мы были уже в Переяславе, и мне большого труда стоило залучить моих новых знакомок к себе на хутор. Наконец, они согласились. Они погостили у нас два дня и так подружились с матерью, что расстались со слезами. Маменька была в восторге от своих друзей и в продолжение этих двух дней была бы совершенно счастлива, если б не свежее воспоминание о покойном Зосе, которое не дает ей покою ни днем, ни ночью.

Взаимные наши посещения продолжались без малого год и кончились тем, что я уже другой месяц в роли жениха и совершенно счастлив. Приезжайте же, благословите мое счастье. А чтобы не откладывать в долгий карман, то соберитесь на скорую руку и приезжайте вместе с маменькой и моим посаженным отцом и другом Степаном Мартыновичем. Приезжайте, незабвенный мой, искренний друже. Много не пишу вам, собственно потому, чтобы удивить вас прекрасною неожиданностью. До свидания. Ваш почтительный сын и искренний друг С. Сокира».

Сборы в дорогу старого холостяка немногосложны. Ярема мой все устроил, а я только потрудился влезть на нетычанку, и мы в дороге.

Вслед за мною приехала на хутор и Прасковья Тарасовна с своим чичероне Степаном Мартыновичем. К свадьбе было все приготовлено, и мы в первое же воскресенье поехали к заутрене, потом к обедне в церковь Покрова и после обедни скрутили с Божиим благословением наших молодых и задали пир на всю переяславскую Палестину, словом, пир такой, что Степан Мартынович, несмотря на свои лета и сан, ни даже на свой образ, пустился танцевать журавля.

После свадьбы я прожил еще недели две в школе Степана Мартыновича и был свидетелем полного счастья своих названных детей.

Прасковья Тарасовна вполне разделяла мою радость, только иногда, глядя на юную прекрасную подругу своего Савватия, шепотом сквозь слезы повторяла: «Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!»

Джерело: *Шевченко Т. Г. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 4: Повісті. — С. 11-119.*

Постійна адреса: http://ukrlit.org/shevchenko_taras_hryhorovych/bliznetsy